

С. М. Березовская

НЕ ЗАБЫТЬ

Публикация Т. С. Царьковой

Эти воспоминания не о литераторах и не о Пушкинском Доме. Но так распорядилась история, что самый страшный год в жизни Светланы Березовской, тогда восьмилетней девочки, был связан именно с Пушкинским Домом, и потому образ этого Дома в ее сознании навсегда слился с пережитой блокадой. Через шестьдесят три года, в год шестидесятилетия Победы и столетия Пушкинского Дома, С. М. Березовская пришла в те комнаты, где ее семья боролась со смертью зимой 1941/42 г., и принесла эту рукопись. Не для публикации — чтобы мы знали. Достоверность и пронзительность этого документа потрясли всех прочитавших, и пушкинодомцы решили, что читателей у него должно стать значительно больше.

Дорогой читатель!

Наверное, я бы не написала этих записок, если бы не случай.

В январе 2002 г. меня разыскала моя одноклассница Нина Карцевадзе, с которой я училась в 47-й школе. Мы не виделись 58 лет, так как в 1946 г. я переехала в другой район и моя связь с одноклассниками оборвалась.

Нина Карцевадзе пригласила меня в 47-ю школу на встречу с учениками, учившимися в ней во время блокады. Увидеть своих бывших соучениц мне было очень интересно, узнать, кто кем стал, вспомнить те давние дни, вновь пройти коридорами любимой школы — это было как путешествие во времени. Мы вспоминали учителей, события военного нашего детства, свои переживания и чувства. Оказалось, что я помню довольно много, поэтому заведующая школьным музеем Валерия Николаевна попросила меня записать мои воспоминания. Мои одноклассницы ее поддержали.

И вот, все, что вы прочтете ниже, — результат нашей встречи. Заранее прошу прощения на тот случай, если вам что-то не понравится. Ведь я не писатель! Единственно, за что ручаюсь — это за искренность и правдивость.

Весной 1941 г. мы жили на Тучковой набережной в д. 2. Здание это было построено в 1831 г. архитектором Лукини при разветвлении Большой

и Малой Невы слева от стрелки Васильевского острова и принадлежало таможене. Теперь в нем располагался музей русской литературы им. А. С. Пушкина (Пушкинский Дом). Два нижних этажа занимал музей, а третий этаж был отдан под коммунальные квартиры. Вход в них был со двора. В одной из этих квартир наша семья занимала две комнаты (30 и 15 м). Кроме нашей семьи, сократившейся к 1941 г. до четырех человек (папа, мама, моя младшая сестра Наташа 4-х лет и я; мне в январе 1941 г. исполнилось 8 лет), жили: большая еврейская семья Мирласов (их было 6 человек), семья Запольных (их тоже было 6 человек), а в комнатах по соседству с кухней жили сестры Паранины. На площадке справа от лестницы жила вдова шорника Полина Захарова с дочерью Галей, а в соседнем коридорчике размещался вход еще в две квартиры: в торце жили Беляевы (4 чел.), а большую квартиру с окнами на наш широкий двор занимала семья Лукьяновых.

Наши окна выходили на переулок И. П. Павлова¹ под углом на Малую Неву, которая также была хорошо видна. Набережная Малой Невы была вымощена булыжником и наклонно спускалась к воде. В воде стояли сваи, собранные в пучки и забитые в илистое дно реки. К этим сваям с весны до поздней осени причаливали баржи, влекомые черными буксирами, груженные самыми разными материалами: кирпичом, лесом, булыжником, мешками с песком, цементом, дровами и пр. и пр. С барж спускались наклонные сходни. По ним на тачках все вышеперечисленное сгружалось на набережную перед нашими окнами и складывалось в штабеля. К штабелям устанавливалась длинная очередь тяжелых телег на широких шинах. В телеги были впряжены мощные лошади першероны. Першероны были спокойные с большими глазами, опущенными прямыми густыми ресницами. Они важно стояли в ожидании погрузки. Когда телега наполнялась, возница кричал: «Но! Пошел!», и телега трогалась. Было непонятно, как такую тяжесть может тащить одна лошадь. Мне очень нравились лошади, выражение их морд и запахи, который от них шел. Мы, дети, очень любили наблюдать за разгрузкой барж, сидя на широких подоконниках.

При въезде на Биржевой мост стояла большая баржа, оснащенная рыбным садком. Туда жители Васильевского острова и Петроградской стороны приходили покупать живую рыбу. Иногда домработница Маня брала меня с собой, и я видела, как в большом садке ходит и плещется в тесноте рыба. Здоровые лещи, карпы, щуки, судаки, окуни. Рыбе было тесно и страшно. Ее отлавливали большими сачками, она билась. Продавец в больших жестких рукавицах выхватывал рыбу из сачка и ударял ее головой о мраморный скользкий прилавок. Если рыба не затихала, помощник продавца, вооруженный тяжелой деревянной кувалдой, ударял рыбу по голове, после чего рыбу взвешивали и передавали покупателю. Мне эта жестокая картина не нравилась, было жаль большую красивую и сильную рыбу. Я приходила домой грустная, и постепенно брать меня в поход за покупками перестали. Весной 1941 г. этой баржи не было. Вообще из-за холодной и мрачной погоды город выглядел каким-то встревоженным. Прохожие бежали торопливо, кутаясь в платки и шарфы, поднимая воротники. Нас, детей, не выводили гулять во двор из-за дождя и мелко секущего снега.

Двор был большой и имел форму каре, растянутого вдоль фасада. По середине стоял деревянный двухэтажный флигель с галереей по второму этажу. Внизу на 1 этаже флигеля были дровяные сараи, а на втором жили люди. С правой стороны был лабораторный корпус физического факультета. За деревянным флигелем была свалка, а слева тоже располагался физический факультет. Позже в его подвале сделали бомбоубежище.

Под окнами музея росли тополя. Зимой перед ними складывали дрова для отопления музея. Я очень любила запах дров, опилок. Мы часто играли в прятки около штабелей, и теперь запах сырых опилок живо напоминает мне те времена.

На углу набережной и переулка Павлова находилось здание Института физиологии АН. С этим переулком у меня связано воспоминание о большом наводнении 1937 г. В этот год были назначены выборы в Верховный Совет. Над входом в здание Института физиологии на углу набережной и переулка И. П. Павлова (кстати, он почему-то сейчас переименован) висел огромный портрет Н. И. Вавилова. Он был написан на холсте сухой кистью. Вавилова выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета.

Весна была бурной, с сильными юго-западными ветрами. Нева побурела и вспучилась. Вода Малой Невы залила набережную почти до самых тротуаров. Буксиры спешно уводили баржи, которые бились о сваи. Биржевой мост тогда был деревянным. Волны грозили просто смыть его. Зрелище было довольно жутким. В один из дней незадолго до выборов налетел ужасный шквал. Ветер срывал листы железа с кровель, ломал деревья. Вдруг шквал сорвал огромный портрет Н. И. Вавилова и бросил его на землю. На земле его свернуло в восьмерку и поволокло в Неву. Тогда я очень испугалась. Было в этом что-то зловещее.

Много лет спустя, когда я была уже вполне взрослой, я прочла о трагической судьбе Н. И. Вавилова² и невольно подумала, что эта буря была предзнаменованием надвигавшихся черных, трагических времен, унесших жизнь многих замечательных людей, таких как Вавилов.

К этому времени — весной 1941 г. — наша домработница поступила учиться и ушла от нас. Тем не менее мы собирались в начале июня выехать на дачу. По-видимому, родители мои были стеснены в средствах, и дача планировалась не такая, как обычно, а совмещающая мамину работу (мама была машинисткой) и наш отдых. Для этого мама устроилась на работу в санаторий «Энергетик» в Сиверской, а дачу сняли по соседству с санаторием. У мамы была собственная машинка «Ремингтон», на которой она целыми днями печатала заказанные ей тексты. Это были дипломы, рефераты, доклады, отчеты и другие материалы. Мама работала на дому. Мы тихонько играли. Каждый как мог.

В первых числах июня мы на грузовичке, который нанял папа, приехали в Сиверскую. Разгрузились и стали устраиваться. Дача была неудачная — прямо у дороги, от которой она была отделена рядом старых елок, стоял жиденький ветхий сарайчик. Дощатая дверь, покосившиеся окошки, кривая, полуразвалившаяся плита. Все было серым, пыльным и убогим. Ели, отделявшие участок от дороги, были старыми, высохшими и серыми, и только на высоте больше двух метров начинались зеленые темные лапы.

Под елями ничего не росло. Земля была серая, пыльная, как зола. Владельцами этих «хором» была пьяноватая парочка. Он был мужичком среднего роста, имел бурое лицо, редкие сальные волосы и подбитый глаз. Она была егозливая бабенка с шестимесячной завивкой на голове и быстрыми, стреляющими во все стороны глазками.

Не успели мы расположиться, как у нас были украдены чайные ложки и будильник. Мама объявила папе, что мы здесь не останемся. Пришлось искать другое пристанище. Оно было найдено и снято в густонаселенном двухэтажном доме, где дачники набились как сельди в бочке. Вокруг дома был обширный зеленый участок, обсаженный кустами боярышника и смородины. Почва на участке была ярко-красной. Дети-дачники целыми днями копались в этой красноватой земле, что-то строили, лепили. Мальчишки сооружали крепости, чтобы затем их разбомбить, а девочки строили кукольные дома, в которых на столах стояли пирожки из того же материала, что и дома. Вокруг столов сидели куклы. Их мамы (девочки) ходили с ними друг к другу в гости.

Во второй половине июня погода наладилась. Светило солнце. Было ясно и ветрено. Любимым занятием были походы на станцию железной дороги. Там мороженщики продавали мороженое. На тележке стояли бачки с мороженым и ящики с вафлями. На вафлях были оттиснуты имена, преимущественно женские. Мороженщик закладывал в специальную формочку вафлю, затем круглой ложечкой набирал мороженое, укладывал на вафлю шарик из мороженого, накрывал другой вафлей, а затем специальным поршнем выталкивал его и вручал покупателю. Мороженое надо было быстро облизывать по окружности вафель, иначе оно начинало капать. Удовольствие было непередаваемым. Вся Сиверская по вечерам ходила на станцию. Отдыхающие санатория, дачники и местные жители, принарядившись, ходили по привокзальной улице и перрону. В это время вошли в моду пиджаки на кокетке и с подкладными плечами, расклешенные брюки, платья с басками и рукавичками фонариками. У женщин были прически с коком надо лбом и волосами, спускающимися до плеч. Все это демонстрировалось в хорошую погоду на улицах Сиверской. Вечером в санатории были танцы, играл оркестр. Танцевали танго и фокстроты, а также вальс цветов. Посторонних на танцы не пускали. Мы, дети, смотрели на танцы в щели забора, окружавшего танцплощадку.

Шла обычная обывательская жизнь. Кто-то работал, кто-то отдыхал. Молодежь парочками ходила на танцы. Во дворе дачи сидели бабушки и няни с детьми, судачили. Дети играли. Все шло своим чередом. По субботам вечером приезжали из Ленинграда работающие отцы и матери семейств, отдыхающих на даче, а по воскресеньям — гости. Каким-то чудом всем хватало места в этом коммунальном «раю».

Вот и 22 июня рано утром приехали навестить нас мамин брат дядя Юра и его жена тетя Соня. Мы их очень любили и всегда очень им радовались. После завтрака на веранде отправились погулять на станцию. На столбах вдоль дороги висели громкоговорители. Было солнечно, но не тепло; дул холодный резкий ветер. По дороге папа встретил главного инженера санатория, с которым был знаком. Мы все остановились на каком-то пе-

рекрестке. Старшие разговаривали, а мы вертелись вокруг них. Вдруг в репродукторах что-то захрипело, а затем зазвучали тревожные позывные. Все замерли. Народ стал подтягиваться поближе к громкоговорителям. На лицах напряжение и тревога.

«Внимание! Внимание! Говорят все радиостанции Советского Союза! Передаем важное сообщение». Пауза. Голос в репродукторе смолк. Тетя Соня оглянулась на нас и сказала: «Граждане, это — война!» Голос ее дрогнул, и сейчас же из репродуктора раздался глуховатый голос Молотова.

Дядя Юра и папа немедленно пошли на поезд в Ленинград. С нами осталась тетя Соня. Мы вернулись на дачу. Все были расстроены и растеряны. Мама и тетя Соня собрали какие-то вещи и к вечеру тетя Соня поехала в Ленинград в жутко набитом вагоне. Какие-то парни ехали на крышах вагонов, на буферах между вагонами. Кто-то пихал вещи в окна, а затем всеми правдами и неправдами лез в вагон сам. Поезд ушел. На следующий день санаторий приступил к эвакуации служащих и отдыхающих. Всюду была паника и неразбериха. Все знали только одно — надо вернуться в Ленинград.

Наступила жаркая погода. Нормальный порядок вещей нарушился. Первыми уехали в город мужчины. Затем друг за другом, используя малейшую возможность уехать, — дачники. Почему-то сразу стало мало поездов. Они уходили набитыми до отказа. В одном из таких поездов уехали и мы. Хозяева помогли нам сесть в поезд. Почти все вещи пришлось оставить. Мама взяла большой чемодан, машинку и нас двоих. Больше она не могла захватить никак. Втиснувшись в вагон, мы, дети, оказались зажатыми между чьими-то ногами и тюками. Наташка заревела, ее извлекли снизу и посадили на какие-то тюки. Я прижалась к маме. Всех нас зажали так, что нечем было дышать. Поезд пополз медленно и натужно к Ленинграду.

В Ленинград поезд пришел на Московский вокзал уже под вечер. Измученные, потные, помятые, мы вылезли из вагона на перрон и медленно в густой толпе вышли на площадь. Здесь была суeta и толчея. Было жарко, пыльно. С помощью каких-то людей мы сели в трамвай и доехали до Биржи. Тут, с передышками и остановками бедная мама дотащила нас и груз до нашего дома. В квартире было пусто. Огромные двери были открыты. Никого не было дома. Мама вошла в наши комнаты, открыла окна и опустилась на стул. Силы кончились.

Однако надо было помыться и хоть как-то осмотреться. В нашей темной коммунальной ванной была грязь. Пришлось мыть ванну и напускать в нее чистую воду (холодную). В ней нас мама кое-как вымыла, а затем уложила спать. Спать не хотелось. Окна наши, очень высокие и широкие, выходили на северо-запад. В них светило яркое закатное солнце. Перед самой войной родители сделали ремонт в наших комнатах. Маленькую комнату отдали детям, большую оставили себе. В детской были кремовые обои, украшенные парусными лодочками с серебряными парусами и чайками с серебряными крыльями. В лучах закатного солнца серебро вспыхивало алым, оранжевым и золотистым. Я лежала на старом плюшевом диване, а Наташа в детской кровати, в которой раньше спала я. Я смотрела на маленькие парусные лодочки на обоях, и все пережитое за этот жуткий день постепенно улеглось в моей душе. И я уснула.

В первые дни родители были очень заняты. Отец на работе, а мама должна была пройти регистрацию, с тем чтобы получить документы, дающие право на получение в дальнейшем продовольственных карточек. Мы были предоставлены себе.

Вернулись с дач соседи: Инга Мирлас, Юлия Августовна Запольная со своими тремя детьми — Аликом семи лет и близнецами Мишей и Сережей, которым не было еще года.

Нам неожиданно-негаданно повезло: в наш переулок насыпали с барж огромное количество речного песка. Переулок был заполнен весь от тротуара до тротуара на полтора метра в высоту. Это было великолепно. Мы с утра до вечера что-то рыли, строили, сооружали какие-то туннели, галереи, лестницы, переходы, мосты. Эта игра нам никогда не надоедала. Другим любимым занятием был поиск на заднем дворе стеклянных светофильтров разного цвета, щедро выбрасываемых на свалку институтом физики. Небольшие круглые цветные стекла быстро стали предметом коллекционирования, обмена и торга. Самыми ценными у нас, детей, считались красные и фиолетово-синие, а зеленые и желтые ценились меньше. Из-за стеклышек разыгрывались целые баталии, мальчишки старались отнять красивые стеклышки, а девочки не уступали.

В конце июня папа пришел с работы раньше обычного. Они с мамой закрылись в маленькой комнате и долго о чем-то говорили. По маминым глазам я видела, что она плакала. На следующий день папа и Константин Петрович Запольный записались добровольцами. Вскоре отец пришел в солдатской гимнастерке, галифе, обмотках на ногах и тяжелых кирзовых ботинках, в пилотке. Через плечо висел противогаз. Гимнастерка была ему великовата, и шея, торчащая из воротника, казалась тонкой и какой-то беззащитной. Затем, обняв нас на прощанье, он ушел и сказал, что 3 июля их часть будет собрана на улице Красной Конницы и оттуда они пойдут на фронт.

А фронт приближался неотвратимо к Ленинграду. Всех, кто не был занят на производстве, мобилизовали на рытье противотанковых рвов в районе Луги. Мобилизовали и тетю Соню.

К нам в квартиру, грозно стуча сапогами, явились три представителя НКВД. Они срезали и унесли наш телефон. (Я до сих пор помню его номер — А1-04-44.) Забрали у нас и Запольных радиоприемники (у остальных их не было), мамин «Ремингтон» и велосипед у Запольных. Таков был приказ, продиктованный военным временем. Все это было оформлено распиской с обязательством вернуть после окончания военных действий. Стоит ли говорить, что ничего не вернули?

3 июля мы с мамой поехали на улицу Красной Конницы провожать папу на фронт. Мама была напряжена, как струна. Мы тоже.

Папину часть построили около Большеохтинского моста. Командовал ею капитан, видимо, кадровый военный. Сначала он произнес короткую речь о том, что от них зависит не пропустить врага, потом выступал еще какой-то пожилой политрук, затем была команда «Разойдись!». Все бросились к своим. Папа обнял нас всех сразу, и так мы стояли, прижимаясь к нему, когда к нам подошел командир и сказал: «Так это Березовский и две маленькие березки?». Этой шуткой он немного разрядил атмосферу. Затем

всех построили, раздалась команда «Марш!», и колонна двинулась по улице, поднимая пыль ботинками. Рота шла за ротой.

Мы пошли с мамой на Кировную, где жили тетя Соня и дядя Юра. Дядя Юра был специалистом по аэрофотосъемке. До войны он участвовал в строительстве Турксиба, Норильского никелевого комбината и дороги к нему, Восточно-Сибирской железной дороги, летал в Заполярье. Перед войной он был зам. начальника отдела аэрометодов Союзникельоловопроекта. Его не призвали на фронт, а забронировали. Когда мы пришли к тете Соне, она собиралась на окопы. Их отряд погрузили в полуторку и повезли в сторону Луги. Мама, дядя Юра и тетя Соня договорились, что мы поедем к ним, чтобы вместе, помогая друг другу, пережить тяжелые времена. Это было отложено до возвращения тети Сони со строительства окопов.

Мы вернулись домой. Двор наш постепенно пустел. Ушли в армию красавицы-украинки сестры Паранины. Их комната находилась рядом с кухней, а над ней были антресоли. Они обе были медсестрами и были необыкновенно хороши собой. Таких ровных сверкающих зубов я не видела ни у кого. Катя была темной шатенкой с прекрасными глазами, а Аня была пепельной блондинкой. Они носили вышитые украинские блузки. Сами были тоненькими, прямыми и веселыми. Они больше никогда не возвращались в нашу квартиру — наверное, погибли — либо на фронте, либо от голода.

Все молодые мужчины были на фронте, кроме Яшки (так его все называли) Третьякова. Это был отец соседской девочки Инги. Его не брали в армию, несмотря на двухметровый рост и могучее телосложение, так как он был одноглаз. До войны он плавал на советских торговых судах кочегаром. Теперь работал где-то на заводе. Отец Беляевых тоже ушел на фронт.

Во втором подъезде осталось две семьи: Богдановы — мать с двумя дочерьми и Колесниковы — мать, очень милая, воспитанная и приятная женщина с сыном Чарли — моим ровесником — мальчиком необыкновенной красоты, всегда модно одетым в прекрасные английские костюмы, но совершенно флегматичным. По соседству с Беляевыми жила развеселая, разбитная и развязная бабенка Мушка с матерью Евгенией Леонтьевной, старой бабкой и сыном Юрой Приходько.

В третьем подъезде жила семья глухонемых, отец, мать и две очень красивые девочки, которые не были глухими, но говорить не умели. Их соседом был старый, безумный профессор-физиолог. Говорили, что он сошел с ума, когда во время каких-то опытов ему в лицо бросилась вырвавшаяся из станка кошка. Он долго лечился, потом был арестован, потом вернулся, но в себя так и не пришел. Он жил один в однокомнатной квартире. Зимой и летом носил одно и то же клетчатое рыжее пальто и страшную приплюснутую шляпу. За пивом он ходил с ночным горшком, ненавидел кошек и кидался на них с палкой, часто падая, разбиваясь и ругаясь хриплым голосом, грозя всем кулаком. Он мог не показываться по нескольку дней. Мальчишки дразнили его кличкой Кис-Кис. В дворницкой жила семья татар, состоявшая из деда — его мы звали Бабай (дедушка по-татарски), мужа, жены и семерых детей — 6 девочек и один, самый младший, мальчик. Старшая девочка была настоящей красавицей, прочие были ничем не примечательны.

Вот и весь состав нашего двора на начало войны.

В начале августа пришла похоронка на Константина Петровича Запольного. Юлия Августовна осталась вдовой с тремя детьми. Горе ее было ужасным. Она замкнулась в себе, разговаривала мало. Присущая ей изначально некоторая суровость усугубилась. Она почти не общалась с соседями, а с детьми была очень строга.

Забегая вперед, хочу рассказать о семье Запольных.

Юлия Августовна со старенькой мамой и тремя детьми добралась до города Фрунзе. Когда она принесла своих маленьких близнецов Мишу и Сережу к врачу, врач сказал: «Зачем вы их везли, ведь они все равно умрут!». Но Юлия Августовна была очень мужественной женщиной. Она выходила своих детей, поставила их на ноги, а сама пошла работать. И вот в конце войны маленький Сережа вдруг стал говорить: «К нам едет папа!». Юлия Августовна пыталась возразить, объяснить, что папу убили фашисты, но малыш и слышать ничего не хотел и говорил: «Нет, к нам едет папа!». В конце концов с ним спорить перестали. Но вскоре после окончания войны к ним в один воистину прекрасный день пришел живой и почти здоровый Константин Петрович. Оказалось, в 1941 г. он был контужен, оглушен и попал в плен. В конце войны их лагерь был отбит у немцев и после проверки они были отпущены на Родину. Тут он узнал, где находится его семья, и отправился к ним. Оттуда они возвратились в Ленинград уже вместе.

Стояла жаркая погода. Мама старалась увезти нас на острова, чтобы мы все-таки были на воздухе. Иногда она брала с нами на прогулку Алика и Ингу. Но вскоре начались бомбежки, и наши прогулки прекратились. Бомбежки начинались рано утром. Нас полусонных вытаскивали из кроватей, и все мы собирались на нашей площадке. Лестницы в нашем доме были широкие, каменные, стены толстые, потолки сводчатые. Именно лестница казалась наиболее защищенным местом. В широкие окна смотрело небо, а в нем розовеющие облака и пухлые серебристые тела аэростатов воздушного заграждения. Порою, по мере приближения к нашему району вражеских самолетов, начинали стрелять зенитки. Они были расположены на стрелке Васильевского острова (три батареи), а на нашем доме и на Бирже по углам были установлены зенитные пулеметы. На другой стороне Малой Невы на химическом заводе также были зенитные батареи. Когда все эти орудия начинали стрелять, грохот их, лающий, жуткий звук просто оглушал. Этому адскому шуму вторило эхо, рожденное в высоких сводчатых помещениях нашего дома. Все это вселяло ужас и тревогу. Но самолеты фашистов улетали, и снова воцарялся жаркий и пыльный август.

Мама теперь целыми днями стояла в очередях за теми или иными продуктами. Получала она их немного. У нее не было той лихой обывательской хватки, которая позволила некоторым ленинградцам сделать запасы. Мы ведь еще не знали, какая участь нас ждет впереди. К тому же не хотелось принимать участие в сумасшедшей обывательской панике, охватившей некоторые слои населения. Паниковать было недостойным нормальных граждан.

В это время уже началась эвакуация. В первую очередь пытались вывезти детские учреждения. Детей комплектовали в отряды. Их возглавляли учителя (в основном женщины) и некоторые матери. На вокзалах царил

беспорядок и толчея. Дети ревели, учителя срывали голос, пытаюсь их организовать и успокоить. Провожаящие плакали. Несколько эшелонов удалось вывезти, а затем фашисты перерезали железную дорогу в районе Валдая, разбомбили несколько поездов. Среди родителей началась паника. Администрация города требовала эвакуации всех детей, но слухи о бомбежках на дорогах этому мешали. Некоторые матери пешком пошли по путям в сторону ушедших эшелонов и часть из них вернулась с уцелевшими детьми.

Фашисты все ближе подходили к городу. Все чаще раздавался сигнал воздушной тревоги — выматывающий душу вой сирен. Фашисты были уже у Луги, откуда пешком уходили под бомбежками и обстрелами строители противотанковых укреплений. Вернулась и тетя Соня. Измученная — от Луги пешком шла, по канавам и оврагам пряталась от вражеских самолетов, которые на бреющем полете расстреливали бегущих людей. Ни поесть, ни попить, ни помыться.

Лейтенант НКВД, который ими командовал, бросил их и на первой же машине уехал, нимало не смущаясь.

Несколько дней мама помогала тете Соне прийти в себя, мыла ее, выводила вшей, готовила еду. В это время мы перебрались к дяде и тете на Кировую, 17. Квартира была во дворе-колодце. Вход был с черной лестницы прямо в кухню. Длинный узкий коридор вел в комнаты. Коридор перегораживали три деревянные стоптанные ступени. Над ступенями был вход в маленькую комнату, где мы с мамой и разместились. В соседней комнате жили дядя Юра и тетя Соня. СНОП (Союзникельоловопроект) эвакуировался. Тетя Соня осталась без работы. Наступил сентябрь. Теперь город бомбили ежедневно и еженощно. Как только объявляли тревогу, дядя Юра отправлял нас с мамой в бомбоубежище — подвал под домом. Там были койки (каждый принес свою), слабые лампочки свисали с потолка. Люди сидели на кроватях по двое-трое. Одни пытались дремать, другие читали, разговаривали, но все прислушивались к взрывам снаружи. Путь в бомбоубежище шел через двор-колодец. По земле струились, переплетаясь, пожарные шланги. В подъездах и на чердаках дежурили служащие МПВО и подростки. В каждом дворе был свой уполномоченный. У нас таким уполномоченным была Круглевская Лидия Марковна, с которой тетя Соня очень подружилась. Это была на редкость красивая женщина — тоненькая, прямая с огромными голубыми глазами и изящным профилем. На ней было модное малиновое пальто и противогаз через плечо. Она сновала от подъезда к подъезду, проверяя, все ли в порядке.

Обычно впереди вереницы жильцов нашей квартиры шла я, так как очень хорошо видела в темноте, за мной продвигались остальные. Как назло, в сентябре стояли такие ясные, лунные ночи, что бомбить Ленинград было проще простого. Весь он лежал как на ладони, ярко освещенный безумно-голубой луной. Город еще не совсем был готов к налетам вражеской авиации. Каждый день происходили новые и новые разрушения. Неподалеку от Кировой, на пр. Чернышевского, было разбито два дома, бомба попала в Гостиный двор (на углу Невского и Перинной). Вид разбитых домов, слухи о жертвах угнетающе действовали на нас.

8 сентября замкнулась блокада вокруг Ленинграда, а вскоре после этого разбомбили Бадаевские склады, в которых были сосредоточены все продовольственные запасы: мука, сахар, масло, мясо и пр. и пр. Склады горели долго. Несколько недель над городом стоял смрад от горящих продуктов. С этого момента в городе был установлен жесткий режим распределения продуктов по карточкам. Мне до сих пор неясно, какой административный «гений» приказал все продовольствие сосредоточить в одном месте. Ведь даже ребенку ясно, что это создавало для врага систему наибольшего благоприятствования при бомбежках. Сентябрь был месяцем бомбежек. Если бомбили не наш район, то по сигналу тревоги мы вставали и, одевшись, выходили в коридор, где располагались на трех ступеньках, сидели молча, дрожали в ознобе от внезапно прерванного сна и с нетерпением ждали, когда прозвучит сигнал отбоя воздушной тревоги.

Если же бомбили наш район, то мы отправлялись в бомбоубежище. Там было хуже. Напряжение передавалось от одного к другому. Все ждали и слушали. Ирина Леонидовна Глушкова нашла хороший способ отвлечь детей от всеобщего страха. Она приносила в бомбоубежище книги Лидии Чарской (была до революции такая писательница) и читала ее романы нам вслух. Вскоре она эвакуировалась в Минусинск с детским садом, в котором она работала. Работники этого детского сада совершили настоящий подвиг. Они не только довели до далекого Минусинска истощенных и обессиленных детишек, но выходили их, поставили на ноги. Благодаря заботам этих прекрасных людей, ни один не умер, ни один не стал инвалидом.

Под утро мы возвращались в свои постели досыпать. Днем тетя Соня и мама отправлялись на поиски продуктов. Помню, что однажды им удалось раздобыть три литра растаявшего мороженого. Его разбавляли и из полученной жижи варили кисель, потом, так же простояв в очереди несколько часов, они получили по мясным талонам 2 кг просроченного яичного порошка. Мешок с порошком подвесили в кухне под полкой. Но вскоре мы обнаружили, что квартирная кошка Мурка прогрызла в мешке дырку и съела значительную часть порошка. Можно представить себе наше огорчение. Через несколько дней голодная Мурка ушла во двор, и мы ее больше не видели. Наверное, ее съели.

Постепенно становилось холоднее. Мы поехали домой на Тучкову набережную, чтобы взять теплые вещи. Пока мы собирались, началась воздушная тревога. Впервые здесь, на Тучковой, нас застала настоящая жестокая бомбежка. Я думаю, что причиной внимания фашистов к этой части города стало вынужденное размещение судов Балтийского флота в дельте Невы по берегам Малой Невы, Большой и Малой Невки и других протоков, где могли быть причалены суда. Вдоль всей Тучковой набережной разместились военные корабли, которым удалось уйти из Таллина и добраться до Ленинграда.

Корабли причалили вплотную, натянули маскировочные сетки, изображающие крыши домов и кроны деревьев. Стало понятно, для чего привезли столько песка — на случай пожаров на судах.

Мы просидели в этот раз в бомбоубежище часов пять. В убежище было холодно и сыро. Одежда, которую мы схватили на бегу, не спасала нас от

холода. Мы дрожали и жались друг к другу. Орудия, установленные на кораблях, на стрелке Васильевского острова и Бирже, били как сумасшедшие. Грохот стоял оглушающий, наконец зенитки отогнали вражеские самолеты. Прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги. Мы побежали домой. Наконец были дома усталые, голодные и продрогшие.

А на следующее утро у Наташи поднялась температура до 40°. Вызванный врач осмотрел ее и сказал: «Плохо, воспаление легких!». К счастью, с мирного времени в нашем более чем странном хозяйстве осталось много горчицы и разных медикаментов. Все это и было мобилизовано для лечения маленькой Наташи. Мы с мамой решили, что больше в убежище не пойдем. Мамина кровать располагалась около капитальной стены. Тут мы и пережидали бомбежки. На Кировскую мы уже не поехали.

Приближался октябрь, все чаще отключали электричество. Стало раньше темнеть. Свечи были на вес золота. Их было очень мало. Керосин даже по карточкам достать не удавалось. Часть дров мама постепенно перенесла в квартиру. До этого все дрова были сложены в подвале и на первом этаже деревянного флигеля во дворе нашего дома, на верхнем этаже еще жили люди, а внизу были сараи для дров. В начале октября еще эвакуировали некоторые семьи. Уехали Богдановы и Колесниковы. Двор постепенно пустел. Жизнь как-то замерла, притаилась в ожидании грядущих событий. Все меньше становилось продуктов. Уменьшались нормы хлеба. Над городом сгущался мрак. Окончательно погасло электричество, перестал работать водопровод. Теперь, как только наступали сумерки, мы ложились на мой старый плюшевый диван, укрывались потеплее и, прижавшись друг к другу, старались надышать побольше теплого воздуха. Под одеялом и ковром мы устраивали что-то вроде пещеры и, забившись в нее, старались согреться.

Днем мама занимала несколько очередей в надежде получить по карточкам хоть какие-то продукты. Появились продукты, о которых мы не слышали в мирное время. Рисовая каша с салом и кильками (консервы), чечевица с горчичным маслом, эрзац-конфеты, твердые и почти не сладкие, сделанные на основе цикория, сахарина и еще бог знает чего. Но мы и этому были рады. Нормы были малюсенькие, но за этими крохами надо было выстаивать длиннейшие очереди.

Октябрь окончился. В первых числах ноября перед самыми праздниками немцы устроили кошмарный налет. Начался он вечером, когда стемнело. Десятки самолетов сбрасывали бомбы на нашу Тучкову набережную, на корабли, на химический завод. Фугасы чередовались с зажигалками. Грохот, свист падающих бомб, осколков, лай зениток, вопли людей, застигнутых врасплох, свистки сотрудников МПВО — все слилось в жуткую какофонию. Сначала мы стояли на лестнице, но вдруг откуда ни возьмись возник Яшка Третьяков, схватил свою дочь Ингу и нашу Наташу и кинулся бежать к бомбоубежищу. Убежище было далеко от нашего подъезда — метров двести или больше. Двор был перекопан траншеями, было темно. Кругом сыпались зажигалки, свистели осколки. Мы ринулись за Яшкой. За ним бежала Шифра — Ингина бабка, за ней мы с мамой, а сзади остальные. Шифра споткнулась и упала в темноте, оглашая двор воплями. Кто-то

ее поднял, а мы, переждав немного, добежали до убежища. Тревога длилась часа три. Когда мы вышли из бомбоубежища, мы были поражены: все небо над Ленинградом было ярко-алое. Огромное зарево освещало город. В воздухе летали целые головешки. Было светло как днем. Все высыпали на набережную и, пораженные, пытались понять, где эпицентр пожара. Оказалось, что главный пожар возник на Петроградской. Дело в том, что напротив Нардома (теперь это здание Балтийского дома) в парке находилась большая деревянная постройка — «американские горы». Опять «блеснул» какой-то «хозяйственный гений» — разместил внутри этих фанерных американских гор все запасы горючих и смазочных материалов: бензин, керосин, лиграин, а также мазут, автол и пр. Первые же зажигалки превратили этот склад в огромный факел, который пылал несколько дней, освещая город и окрестности. В Колпино, где стояла папина батарея, тоже было совершенно светло. Какое уж тут затемнение! Темно стало, когда погас этот огромный костер.

А с середины ноября наступили морозы 18—20°. Стоять в очередях стало очень холодно. Иногда мама ставила в очередь меня, чтобы слегка согреться в перерывах. К сожалению, мои валеночки оказались маловаты, а других не было. В одной из этих очередей я крепко приморозила пальцы на ногах. Тут мама увидела, что дело плохо, повела меня к врачу. Врач сказала, что обмороженность второй степени. Смазала ноги касторовым маслом. Пальцы проложила бинтом, густо смазанным ихтиоловой мазью, а сверху все толсто забинтовала и сказала, чтобы мы не разбинтовывали ноги и не меняли повязку, так как пальцы могут срастись — кожи на них и верхней части стопы практически не было.

Так в конце ноября начались мои муки. Ходить было очень больно. Бинты постепенно подсыхали и при малейшем прикосновении причиняли еще дополнительные травмы. Кожа не заживала, так как уже в декабре начался настоящий голод, а вместе с ним и цинга.

Теперь жизнь нашей семьи сосредоточилась вокруг печки-голландки. От бесконечных бомбежек часть стекол в окнах вылетела. Мама заткнула образовавшиеся дыры старыми тюфяками, которые бабушка когда-то привезла с Украины, а сверху окно было завешено толстым ковром. Все это было в маленькой нашей комнате, а за дверью была большая комната, в которой, конечно, была печь, но это была громадная дворцовая кафельная печь. Она была очень красивая, около 4 метров в высоту, облицована кафелем цвета топленых сливок. Наверху ее украшала голова медузы Горгоны. Печь эта за зиму в нормальных условиях поглощала 16 кубометров дров. Поэтому большая комната теперь не отапливалась и имела температуру почти такую же, как на улице. Высота комнат была почти 5 метров. Обогреть такие помещения было невозможно. Мы жались к печке. Маленькая Наташка забивалась между печкой и стеной. Из-за печки высывалась только ее головка на тоненькой шейке. Голова ее была покрыта гнойной коркой — результат голода и цинги. Бедная моя сестра тихонько плакала и говорила: «Мама, есть хочу!». Она была слишком мала, чтобы понять, что маме от ее скулежа только хуже. Чтобы не отходить от печки, мама соорудила из двух чемоданов подобие стола. По бокам стояли две

детские скамейки. На них мы сидели. Все это помещалось напротив дверцы печки и было отгорожено от окна ширмой, накрытой толстым одеялом. На чемоданах, покрытых клеенкой, мы ели ту скудную еду, которую мама могла раздобыть.

К нам в квартиру на площадь Параниных поселили жену капитана I ранга, командира одного из кораблей, стоящих вдоль Тучковой набережной. Она была молодая, очень милая и скромная женщина. Звали ее Александра Петровна. Она по вечерам приходила к нам, к нашей маме и нашей печке. Паранинская комната была совершенно холодной. Сидя с нами у печки, она рассказывала о переходе Балтийского флота из Таллина в Кронштадт и затем в Ленинград. При этом она горько плакала, вспоминая сколько людей погибло при посадке на корабли, так как уйти из Таллина можно было только по морю. Суда были перегружены, многие из них не вооружены. Многие утонули, многие были расстреляны фашистами по пути. До базы добралась меньшая часть. Александра Петровна куталась в серый пуховый платок. Они с мамой как-то пытались успокоить друг друга. Вскоре ее муж уговорил ее эвакуироваться.

Рано утром мама и Полина Захарова отправлялись в булочную и занимали очередь за хлебом. Ближайшая булочная помещалась за Биржевым мостом на углу Мытнинской набережной, где сейчас располагается общежитие Университета. Весь город, набережные, мосты были занесены глубоким снегом. Для истощенных женщин, которые едва передвигали ноги, путь этот до булочной был не близким и очень трудным. В снегу были протоптаны тропинки, они были узкими и скользкими. Дело осложнялось еще и тем, что часто люди падали, а подняться уже не могли. У прохожих не было сил оттащить мертвое тело с дороги. Подчас дело кончалось тем, что через мертвеца начинали прямо ходить, постепенно снег заносил мертвое тело, на его месте образовывался небольшой холмик, и уже никто не обращал внимания на то, что лежит под ногами.

Очередь занимали в 6 утра. В случае удачи получить хлеб можно было в 3—4 часа дня. В это время уже было темно — замерзшие женщины, спрятав паек глубоко под одежду на груди, возвращались домой к детям. Дети же сидели у печки. Моя обязанность была поддерживать в печке слабый огонь, так как спичек не было, дров становилось все меньше.

Всем руководила идея жесточайшей экономии. Норма хлеба составляла 125 г на человека; если в ноябре можно было получить какие-то крохи крупы или хоть каких-нибудь продуктов, то в декабре кроме 125 г хлеба получить нельзя было ничего.

В конце декабря нас навестил дядя Юра. Он пешком дошел до Тучковой набережной с Кирочной улицы — настоящий подвиг. Я его с трудом узнала. До войны дядя Юра был крупным полным молодым еще 35-летним черноглазым мужчиной с ярким веселым лицом, широкими плечами и красивыми крупными руками. Теперь же перед нами стоял высохший желтолицый человек, на котором едва держалось пальто — так он похудел. Он старался казаться бодрым, сходил в сарай, принес остатки дров. Посидел с нами, но маму не дождался. Он подарил нам бесценную вещь — самодельную коптилку, сделанную из мензурки, заправленную машинным маслом и снабженную фитильком. Теперь мы уже не сидели в полной темноте, а при

свете копилки рассматривали книги, я читала и рисовала цветными карандашами в основном пейзажи далеких фантастических стран.

В это время меня очень интересовали рассказы о путешествиях, экзотических животных и приключениях. Вся моя энергия теперь сосредоточилась в моей детской фантазии. Пейзажи, интерьеры, предметы рисовались в моем воображении так ярко, так осязаемо и реально, что это отвлекало от голода и страха, что мама может не вернуться. Плакать было нельзя — нельзя было пугать маленькую Наташу.

После последнего уменьшения пайка папа послал нам письмо. Оно дошло до нас, как это ни странно. Письмо было полно такой любви, такой тревоги за нас, такого страстного желания нас поддержать, что читать его равнодушно нельзя и сейчас. Меня он просил во всем поддерживать маму и помогать ей. Моя помощь была скорее моральной, так как физических сил почти не было. Отец спрашивал, как мы перенесли эти страшные налеты, и выражал уверенность, что я вела себя спокойно. Так это и было.

Кроме голода, холода, темноты было еще одно очень суровое лишение — отсутствие воды и канализации. За водой приходилось ходить на Неву. Достать воду было непросто. Морозы стояли больше 30°. Нева промерзла на 1,5 м. Моряки пробивали полыньи и дневалили около них, поднимали воду и разливали в ведра, чайники и бидоны, подставляемые приходившими за водой людьми. С этой ношей надо было выбраться на берег — скользкий и обледенелый и дотащить до дома на третий этаж. Мы перестали мыться. Только иногда мама протирала наши тела смоченным полотенцем. Чтобы протереть ноги, необходимо было снять чулки. Когда мы их снимали, в каждом чулке было по полстакана сухой кожи. Отсутствие жира в организме приводило к тому, что кожа высыхала, трескалась и осыпалась как прах.

В начале января нас посетили девушки из МПВО. Они принесли большую бутылку с хвойной настойкой. Сосновые и еловые ветки обстригали ножницами, и эту нарезанную хвою настаивали, залив водой. Настой получался настолько горьким и едким, что пить его было очень трудно, но от нас требовали, чтобы мы его пили. «Это витамин С», — говорили они. Кроме того раз в неделю они приносили детям фронтовиков по тарелочке дрожжевого супа, это была мутная дрожжевая вода, в которой плавала маленькая капля витамина Д, она была оранжевая, как икринка. Мы съедали этот «суп», оставляя витамин на закуску. Другим подспорьем стал для нас студень из сыромятных ремней, который варила Полина Захарова. Ее муж, умерший перед войной, был шорником. Обрезки сыромятной кожи случайно сохранились у нее с довоенных времен. Их Полина резала острым ножом, как лапшу, и варила студень. Мама покупала у нее студень по 500 рублей за тарелку — все-таки белок, хоть и вонючий, как столярный клей. Мы поливали его уксусом, мазали горчицей и ели с большим аппетитом.

Вообще, произведя инвентаризацию всего, что лежало в буфете, мы нашли довольно экзотические продукты питания. Нашли мешочек мака, мешок сушеных апельсиновых корок, запас сухой горчицы, которую мы тщетно вымачивали, надеясь получить подобие каши. Но горчица остава-

лась горчицей, и есть ее просто так было невозможно. Замечательной находкой был ящичек бабушкиного комода, наполненный гомеопатическими лекарствами. Бабушка умерла в середине 1939 г. от рака поджелудочной железы в страшных мучениях, которые она пыталась облегчить с помощью этих лекарств. После ее смерти все забыли о них. Теперь мы без разбору ели сладкие сахарные шарики по 5 штук в день, не задаваясь вопросом, что кроме сахара содержат эти шарики. Другой находке мы обрадовались просто несказанно. Дело было так: мама сделала слабую попытку раздвинуть большой обеденный дубовый стол, чтобы вынуть раздвижные доски и пустить их на топливо, но на это у нее не хватило сил, однако в образовавшуюся узкую щель на пол посыпались огрызки бутербродов, печенья, баранок и пр. Это мы, дети, до войны, не желая есть, прятали по щелям недоеденную пищу. Теперь эти объедки, покрытые плесенью, пылью и паутиной, привели нас в полный восторг. Мы соскоблили паутину и плесень, сложили все эти кусочки в кастрюльку — набралось довольно много, с полкастрюли, залили водой и поставили варить в печку. Куски разварились и превратились в тюрю. Эту тюрю мы ели целую неделю все трое.

Мама уже выменяла на хлеб и сахар папины швейцарские часы, бабушкину свадебную икону Казанской Божией Матери, швейную машинку Зингер и великолепное распятие, подаренное ей ее бонной Евгенией Альбертовной, чудесным человеком, очень любившим маму. Распятие было из черного дерева (крест), а фигура Христа была вырезана из коралла нежно-розового цвета. Венец, гвозди и веревки были из серебра. Вещь была выполнена очень тонко. Мама расставалась с ней со слезами на глазах. Евгения Альбертовна после революции осталась на Украине в Виннице и поступила работать в больницу медсестрой. Когда в Винницу вошли немцы, они расстреляли всех раненых, лежащих в больнице, и весь медперсонал, в том числе и Евгению Альбертовну. Об этом мы узнали в 1948 г., когда мои родители съездили в Винницу навестить места своей юности. Но все-таки от Евгении Альбертовны осталась мне на память вышитая ею мельчайшим крестом шерстью голова Христа на кресте. Эта икона и сейчас висит в моей комнате и напоминает мне о маме. Все вещи покупал у мамы механик одного из кораблей, стоящих на нашей набережной. Взамен он приносил кусок сахара, бутылку касторового масла и иногда кусок сухаря. В конце января он должен был принести последнюю плату — кусок хлеба и кусок сахара, но не принес и больше никогда не появлялся.

Вышло так, что мама 28 января получила по карточкам впервые белый хлеб и выкупила его на 3 дня вперед. 28 января — день рождения Наташи. Мы так обрадовались, что в предвкушении получения еще одного кусочка хлеба и сахара белый хлеб съели 29 и 30 января, думая, что 31-го в день моего рождения мы все-таки получим ожидаемую плату. Но, как я уже сказала, мы ничего не получили, и мой день рождения прошел печально. В доме не было ни крошки.

У Мирласов за стенкой теперь оставалось только два человека: Инга и ее мать Нина. Старик Мирлас умер на работе, бесследно исчез Яшка. Последний раз он появился в конце декабря, схватил за чем-то мясорубку и исчез. Больше о нем не было ни слуху ни духу. Нина каждый день уходила на

работу, оставляя Ингу сидеть в комнате, где лежала мертвая Шифра — ее бабка. Мама жалела Ингу и приводила ее к нам. Инга ничего не говорила, только молча сидела на скамейке у печки. У нее были великолепные густые темно-каштановые волнистые волосы. Однажды луч света от коптилки осветил эти распущенные по плечам волосы, и мы увидели, что они кишмя кишат вшами. Мама скорей усадила Ингу на клеенку и попыталась вычесать вшей, но это было невозможно. Вскоре вши появились и у нас. Тот, кто не знает, что это такое, не может представить себе, какое это унижение. С этого времени и до 1944 г. мы непрерывно сражались со вшами. Почему-то на голодном человеке паразиты плодятся особенно активно.

В первых числах февраля эвакуировалась Юлия Августовна со своими тремя сыновьями и Полина Захарова с дочкой Галей, эвакуировались и Инга с матерью. У Лукьяновых умерла бабка Мушки Лукьяновой. Ей было уже 80 лет, она совсем выжила из ума, ходила по квартире и, требуя еды, выла как собака. На нашей лестнице остались Беляевы, Лукьяновы с Юркой Приходько — отвратительным мальчишкой, нечистым на руку, вульгарным и вредным. Во дворе умерли все. Умерли татары, умерла семья глухонемых, умер Кис-Кис. Семья Андреевых переехала из деревянного флигеля в дом по соседству с библиотекой Академии Наук.

В начале февраля к нам добрался папа. Он пешком пришел из Колпино. Первая его попытка окончилась неудачей: он дошел до Средней Рогатки, на въезде в город, спустился в противотанковый ров, а подняться по противоположной отвесной стене не смог. Он долго тщетно пытался вылезти из рва, но все-таки ему пришлось вернуться на батарею. Голодный, обмороженный, усталый он был очень расстроен. Но через 2 дня их пошло в город уже трое. Они должны были получить катушки провода для связи. Втроем они преодолели ров, и папа пришел к нам. Он откладывал по кусочку сухаря каждый день, прятал на себе, сохраняя эту несчастную порцию еды для нас. Делалось это тайком от командира, который следил, чтобы солдаты съедали весь свой паек. Солдаты тоже голодали. Блокадный паек был ничтожно мал для взрослых мужчин. У отца тоже была цинга. Под мышками и за ушами были гнойники. Я видела, что, глядя на нас, он с трудом удерживал слезы. Он побыл с нами, посидел у печки и собрался уже идти обратно, когда пришел его товарищ и сказал, что его семья погибла. Тут выяснилось, что их старшина, который был послан в Ленинград двумя неделями раньше, должен был отнести хлеб семье, которая теперь умерла, но не отнес, а съел этот хлеб со своей сожительницей. Хлеб предназначался трем семьям: нам и еще двум другим. Теперь этот старшина был виновником гибели одной из них. Мужчины пошли к себе на батарею. При виде их старшина сделал попытку спрятаться, но солдаты нашли его и жестоко избили. Они били его, как врага, зная, что за это им может грозить штрафбат. Но командир батареи сделал вид, что ничего не знает. Дело замял, а старшину сплавил в другую часть.

Голод стал невыносим. Мы с Наташей теперь не вставали с постели, а целыми днями лежали под одеялом, ковром, папиной меховой курткой. Спать мы укладывались в 5 часов — сэкономили масло в коптилке. Укладывая и укрывая нас, мама давала нам по пять горошинок гомеопатических

лекарств и говорила: «Девочки, а теперь помечтайте». И мы мечтали о том, что кончится война и будет много хлеба и каши, что вернется папа, что все будет хорошо. Иногда я мечтала, что я поступлю в балетную школу и буду танцевать в красивых пачках, а ноги болеть не будут. И все будут мне аплодировать, но...

В комнате царил холод. Все предметы были холодными как лед. Мебель, дверные ручки, книги, посуда — все вызывало дрожь. Наружная стена, отделявшая комнату от улицы, была внутри покрыта инеем. Морозы доходили до 40°.

Наверное, дядя Юра не выжил бы, если бы не счастливая случайность. Он встретил на улице одного своего бывшего коллегу, и тот немедленно отвел его в штаб округа, где его разбронировали и мобилизовали. Это спасло его от голодной смерти. Вскоре он возглавил одно из подразделений аэрофотосъемки, получив звание капитана. Весной он устроил тетю Соню в мастерские при аэродроме. Она работала чертежницей на казарменном положении и считалась военнотрудовой. Так они вырвались из лап голода. Совместно с Виталием Ивановичем Семеновым они изобрели приспособление для производства точной аэрофотосъемки, которым теперь пользуется весь мир. С Кирочной улицы они перебрались к матери тети Сони, Пелагее Ивановне, на ул. Чайковского, 40, в опустевшую квартиру. Соседи умерли. Умер Лев Радищев,³ их сосед, потомок знаменитого писателя; умер в ссылке Арвид Лебориевич Бэннинг⁴ — всемирно известный ихтиолог. Застряла в ссылке его жена Алиса Рудольфовна. В большой квартире Пелагея Ивановна осталась одна. Теперь, когда к ней переехала ее дочь, ей стало легче. Но это все устроилось весной.

А сейчас мы тихо умирали от голода и холода. Мама стала носить мое белье, белье восьмилетнего ребенка. Ее собственное на ней не держалось. Она уже с трудом двигалась — болели все суставы, шатались зубы и кровоточили десны. Сил было все меньше, и вот она в один из дней вновь ушла в очередь за хлебом, и вдруг я заметила, что у нас погасла печка. Я была в отчаянии. Несмотря на то что у меня страшно кружилась голова, я свернула из оторванных обоев жгут и медленно потащила на лестницу, а затем по лестнице на 2-й этаж. Там в однокомнатной квартире жили моряки. Когда я доползла на своих забинтованных ногах до их двери и протянула жгут, чтобы мне его зажгли, один из матросов, видимо, так испугался моего вида, что заорал, чтобы я убиралась, наверное, думал, что я буду просить есть. Но второй моряк оказался нормальным человеком. Он взял у меня жгут, поджег его и донес его до нашей печки. Обессиленная от этого похода и переживаний я слегла совсем и на следующий день встать уже не смогла. Мной овладела апатия. Мне хотелось просто лежать, ничего не видеть, ничего не чувствовать.

В этот день мама отдала Мушке свою последнюю драгоценность — великолепную брошь из золотой филигранны с крупным аметистом и аметистовой подвеской. За эту вещь мама получила 1 кг гречневой крупы и стакан риса. Но я уже не ела. Истощенный организм не принимал пищи. Перед глазами проносились какие-то видения. Мерещилось что-то блестящее, какие-то сверкающие колеса, шлемы, перчатки все в блестках, а затем я проваливалась во тьму.

Но Богу было неуютно, чтобы я умерла. 24 февраля пришел папа. Его отпустили на сутки домой. Он принес половину зажаренной курицы. Эта курица была подарком псковских партизан. К 23 Февраля псковские партизаны собрали под носом у немцев 1000 возов продовольствия для Ленинградского фронта и ночью вывели их прямо на советские позиции. Это была героическая эпопея, подробности которой мы узнали позже. Каждому бойцу досталось что-нибудь съестное: кому кусок колбасы или сала, кому пяток вареных яиц, кому полкурицы, кому кусок мяса. Папа получил полкурицы. Она была слегка обжарена, чтобы не испортилась. С этой-то половинкой курицы он и пришел домой. Мама в слезах поведала ему, что я уже не ем. Тогда они положили курицу в кастрюльку и сварили ее с двумя ложками риса. Полученный бульон мне стали давать по капле каждые 2 часа. Через два дня я уже начала интересоваться пищей, а через неделю я опять рисовала, сидя у печки.

К 23 Февраля увеличили норму хлеба на 50 г. Теперь на каждого приходилось уже 175 г. Тот, кто не голодал, не может себе представить, насколько эта прибавка была существенной. Мама сказала: теперь мы не умрем! Сказала твердо, хотя сил у нее совсем было мало.

Однажды вечером она сидела с нами перед печкой, и вдруг к нам заявила Мушка. Вульгарно покачивая бедрами, она сказала: «Прасковья Константиновна, вы наверное все знаете, — что это такое?» и положила перед нами четыре ювелирные коробочки. В каждой из них находилась маленькая фигурка. Это были: пантера из топаза с хризолитовыми глазами, кролик из горного хрусталя с рубиновыми глазками и петушок из оранжевого халцедона. В четвертой коробке лежали пуговицы, покрытые голубой эмалью и обрамленные мелкими бриллиантами. В центре каждой пуговицы был изображен ангел, написанный нежными розоватыми красками. Мама сказала, что это Фаберже. Что касается пуговиц, то это, по-видимому, часть праздничного облачения священника.

Так впервые в жизни я увидела произведения фирмы Фаберже. Фигурки мне очень понравились. Вообще за время блокадного голода Мушка стащила в свою квартиру множество хороших и дорогих вещей. За одни она платила хлебом, которым с ней расплачивались моряки (древнейшая профессия пользовалась спросом), другие она обнаружила в брошенных пустых квартирах, хозяева которых умерли или эвакуировались. Она стаскивала к себе в квартиру мебель, ковры, посуду, книги и пр. На кораблях нашлись столяры, которые реставрировали эту мебель для нее. Сама Мушка была гладкая, наглая, вульгарная. Ее мать имела стать першерона и с успехом обслуживала Мушку и ее гостей. По вечерам в их квартире звучала музыка. Гости танцевали под патефон. Настоящий пир во время чумы.

К 8 Марта детям фронтовиков выдали по комочку глюкозы, а на карточки вместо сахара по 120 г прессованной вяленой дыни. Сказали, что это подарок Ленинграду от колхозников Средней Азии. По радио передавали стихи Джамбула «Ленинградцы — гордость моя».⁵

Появилась надежда выстоять. Теперь каждый вечер мама читала нам книги. За это время она прочла нам Диккенса «Давид Копперфильд», «Серебряные коньки», Жюль Верна «80 000 лье под водой» и многое другое.

По радио передавали стихи Ольги Берггольц. Мы все время говорили о папе, думали о нем, мечтали, что он снова навестит нас при первой возможности. Мама сказала, что если мы переживем март, то останемся живы непременно.

Однажды днем, когда мама, как всегда, отправилась в очередь за хлебом, к нам в дверь кто-то постучал. Это было удивительно. Ведь двери не закрывались. Я крикнула: «Войдите!». На пороге появился высокий летчик. Я поняла, что это брат Константина Петровича Запольного. Я видела его один раз перед войной. Он был очень похож на Константина Петровича, только моложе. Мы поздоровались, и он спросил, где все — папа, мама и Юлия Августовна. Он ничего не знал о своей семье с начала войны. Я все ему рассказала. Сказала, что Юлия Августовна со своей мамой и тремя детьми эвакуировались в начале февраля, что Константин Петрович погиб в июле, что мы в квартире теперь одни. Мама пошла за хлебом. Теперь в булочную приходилось ходить гораздо дальше. Дом на Мытнинской набережной разбомбили, и он медленно тлел. Никто не мог погасить этот пожар. Нева покрылась очень толстым льдом. Для пожарных машин не было горючего, а у людей не было сил. Дом горел полтора месяца, пока от него не остались одни только каменные стены. Теперь мама ходила за хлебом на Невский. Эта булочная есть и теперь напротив Малой Морской (тогда улицы Гоголя).⁶

Все это я рассказала Сергею Петровичу. Он сидел напротив нас с Наташей и смотрел на нас во все глаза. Что уж там он видел, не знаю, но он вдруг развязал свой вещевой мешок и вынул оттуда три толстых куска черного хлеба, намазанных маслом. Мы опустили глаза, не смея даже взглянуть на такую неслыханную роскошь. Но он встал и каждой из нас дал по куску хлеба с маслом. Мы шепотом сказали: «Спасибо», но не ели. Когда он спросил, почему, мы ответили, что дождемся маму и тогда съедем этот хлеб втроем. Он сказал, что он маме тоже оставит и чтобы мы ели. Нас не пришлось долго уговаривать. Хлеб был такой чудесный. Не наш блокадный, состоящий из опилок, жмыха и целлюлозы, а настоящий мягкий и душистый. Мы ели его аккуратно, боясь уронить хотя бы крошку. Когда я подняла глаза и взглянула на Сергея Петровича, я увидела, что по его лицу катятся слезы и он их не вытирает, наверное, чтобы не смутить нас, и в надежде, что занятые едой мы этих слез не увидим. К счастью, в это время вернулась мама, и обстановка сама собой разрядилась.

В середине марта в Ленинград нагрянула весна; дружная, солнечная, она вырвала нас из черноты жуткой, казавшейся бесконечной зимы. Фашисты надеялись, что в голодном, наполовину вымершем Ленинграде начнутся эпидемии, болезни, и город падет. Но ничего подобного не случилось. Слабые, высохшие от голода ленинградцы — все, кто только мог двигаться и держать в руках лом или лопату, вышли на улицы, чтобы очистить город, вывезти вмерзшие в снег трупы, убрать нечистоты из домов, дворов и улиц. Каждый день метр за метром город освобождался от зимней коросты. С помощью мамы я стала выходить на наше широкое каменное крыльцо, ярко освещенное солнцем. Мы с Наташей садились на солнышке и тихо грелись. Постепенно я стала разбинтовывать ноги и выставлять их

на солнце. И на моих глазах начало происходить чудо. Раны, которые раньше зияли и сочились, теперь начали уменьшаться, заживать, затягиваться. Кожа на них белела, уплотнялась. Уже можно было надеть свободную обувь и понемножку ходить. На дворе на южной стороне, там, где не было асфальта, появилась трава. Мы стали выщипывать ее и жевать. Правда, есть можно было только самую молоденькую, чуть подросшая, она уже не годилась в пищу.

Город убрали. Львиная доля труда легла на плечи девушек из МПВО. Они выносили трупы из домов и складывали их на машины. Вынесли они и труп Шифры Мирлас. Машины увозили этот кошмарный груз на кладбища и в места, определенные администрацией города. Самым огромным складом мертвых тел была дорога между Кушелевкой и Пискаревкой. Здесь, по рассказам девушек, штабель мертвецов тянулся на несколько сот метров вдоль железной дороги, а на Пискаревке военные с помощью взрывчатки готовили огромные ямы для захоронения. Теперь это всемирно известное Пискаревское кладбище. Но кроме него на каждом ленинградском кладбище есть большие братские захоронения. Есть оно и на Серафимовском кладбище. Оно поглотило и некоторое количество могил, чьи кресты пошли на дрова во время зимы. Так были безвозвратно потеряны могилы моих бабушек, похороненных до войны.

В апреле случилось два замечательных события: первое — дали воду. Она лилась из крана в кухне сверкающей хрустальной струей — это был праздник, волшебство. Мы мыли посуду под этой сверкающей струей и не могли нарадоваться. С приходом весны все предметы вновь обрели осязаемость. Уже можно было без страха прикасаться к ним, ощущать их фактуру, оценивать их поверхность.

Вторая радость — пошел трамвай. Впервые после долгого ледяного плена по улицам и мостам шел трамвай, он радостно громыхал на стыках рельс, звенел как птица. Уцелевшие в голодную зиму мальчишки, конечно, немедленно облепили вагоны, повисли на буферах и решетках, несмотря на окрики кондукторов и свист милиционеров. В город возвращалась жизнь вместе с теплом и солнечным светом.

Мама решила, что необходимо устроиться на работу. Она всюду предлагала свои услуги, но ей отвечали, что ее незачем оформлять на работу, так как она завтра умрет. Но мама каждый день снова уходила на поиски работы.

Наконец, маме удалось получить работу в столовой школы № 47 на Петроградской стороне. В мамины обязанности входило получать деньги и талоны продовольственных карточек от учеников и учителей и следить, чтобы раздатчица верно отпускала по талонам питание. В конце дня полагалось наклеить сотни этих маленьких талонов (1 кв. см), распределяя их по сортам, подсчитать, подписать каждый у директора столовой и сдать их в банк, после чего можно было идти домой. Но дойдя до Тучкова моста, мама часто бывала задержана патрулем, так как наступал комендантский час. В пикете ей приходилось ждать до 6 часов утра, не спать и страшно беспокоиться о двух маленьких дочках, оставшихся в пустом доме.

В начале мая к нам, на Тучкову набережную, пришли две девушки из МПВО и сказали, что я должна записаться в школу. Я еще плохо ходила по-

сле голодной зимы, которую я провела почти не двигаясь. Ноги мои еще не совсем зажили, и я едва ползала по квартире, но тут мне пришлось пройти от Биржевого моста до угла Среднего проспекта. Нас, детей, собранных из окрестных домов, было человек шесть-семь. Мы шли за девушкой из МПВО, растянувшись вереницей. Я плелась в хвосте. Когда мы пришли в поликлинику, мне стало дурно. Отвыкшее от движения, ослабшее от голода сердце едва билось. Мне сделали какой-то укол, осмотрели и сказали, что все в порядке.

Меня записали в 1-й класс. Мне было 9 лет. Теперешние девятилетние дети выглядят, как дети 11 лет в то время. Мы были так ужасно малы и слабы, но ничего, в конце мая мы пошли в школу. Школа располагалась в здании университета.⁷ Занятий фактически не было. Мы приходили и, поторчав во дворе часа два, медленно ползли в столовую, расположенную в здании Двенадцати коллегий во дворе.

В час дня мы рассаживались за длинными столами, нам по списку выдавали по талонам кусочек хлеба, тарелку дрожжевого супа и порцию каши. Часть каши и хлеба я должна была принести домой для моей младшей сестры — ей было 5 лет.

Мы приходили рано, так как в 8.20 каждое утро начинался обстрел. Я шла мимо исторического факультета, превращенного в госпиталь. На галерее под аркой сидели и стояли выздоравливающие раненые, вышедшие подышать воздухом.

Однажды, когда я шла в школу, начался ужасный обстрел. Падали и взрывались снаряды, свистели осколки, были сирены, требуя, чтобы все укрылись. Я бежала по университетской линии, спрятаться было негде. Раненые кричали мне: «Ложись, ложись, дура!». Но я так и не легла, а добежала до набережной, до входа в школу. Во время этого обстрела тяжелый фугас попал в крейсер «Киров»⁸ — флагман Балтийского флота, стоящий на приколе у моста Лейтенанта Шмидта и превращенный в артиллерийскую часть. Это было потрясением. Все выбежали на набережную глазеть, но нас быстро убрали с набережной в класс. Вскоре школу перевели на 21-ю линию.

До 21-й линии идти было далеко. Сначала я шла по Тучковой набережной, потом по Биржевому переулку, по Первой линии, а затем выходила на Большой проспект Васильевского острова.

Странный это был путь. Если на набережной еще попадались навстречу люди, моряки, военные, бойцы МПВО, то Большой проспект был огромен и совершенно пуст. Весь он был залит солнцем, цвели кусты желтой акации, стояли высокие пышные деревья, но было совершенно тихо, не пели птицы, не чирикали воробьи — их не было. Вокруг было беззвучное царство солнечного света. Я шла и шла долго, до 21-й линии было все еще далеко. Наконец я пришла к школе № 21. Темная, полуразрушенная, с выбитыми стеклами, она производила ужасное впечатление. Полубезумная от истощения учительница не могла справиться с классом. Мальчики бузили. Девочки их боялись. Никакие занятия не были возможны. Ходить в такую школу было незачем. Моя сестренка Наташа ходила в детский садик в конце Волховского переулочка. Вскоре она заболела коклюшем, а от нее зара-

зились и я. По правилам карантина мы не могли посещать ни детский сад, ни школу. В результате мы оставались одни в огромной пустой коммунальной квартире, по нашей лестнице проживала еще только одна семья. Дом вымер.

Стояли светлые летние ночи. Людей в доме не было, но зато было множество крыс. Отъездившие за зиму на трупах, лежащих в пустых квартирах, крысы чувствовали себя хозяевами пространства. Они спокойно и важно расхаживали по квартире, лазали по шкафам и диванам, с топотом гонялись друг за другом, не обращая внимания на двух маленьких девочек. Их даже не смущал наш оглушительный кашель, который буквально выворачивал нас наизнанку.

Целыми днями мы жили одни в огромной пустой коммунальной квартире. Двери в квартиру не закрывались. Они были высокими и тяжелыми, высокие сводчатые потолки тонули во мраке. В выбитые окна задувал ветер с Невы, шурша обрывками бумаги и обоев. Гофманиада. Ежедневно набережную обстреливали или бомбили. Стало ясно, что до зимы необходимо перебраться на Петроградскую сторону поближе к маминой работе.

В сентябре маме удалось совершить обмен. В то время было много пустующих квартир. Половина Ленинграда вымерла от холода и голода. Многие были эвакуированы, другие на фронте. Найти возможность обмена было нетрудно. В это время обстрелы обеих набережных Малой Невы стали особенно интенсивными. Набережную фашисты обстреливали каждый день.

Короче, бросив все свое имущество, мама перетащила нас на новую квартиру по адресу Плуталова улица, дом 26/80. В квартире было 6 комнат. Наша комната была слева от входной двери. Напротив жила пожилая санитарка, работавшая в госпитале на казарменном положении и приходившая домой редко. В комнате рядом с ней жила одинокая старуха Ольга Абрамовна. Она всегда запиралась на ключ, ни с кем не разговаривала и не общалась. Даже в кухню почти не выходила. Поговаривали, что она староверка.

Через стенку от нас жила полька Фрида Казимировна Гулина с дочерью Мусей. Фрида Казимировна где-то работала, но где — я не помню. Она была изящная, подвижная, темноволосая. Ее муж погиб на фронте, Мусе было лет 16—17, она где-то работала неполный день. Часов в 5 вечера она уже была дома. У нее была крепенькая, аппетитная фигурка, стройные ножки и прекрасные густые русые волосы. Муся мечтала о замужестве, сидя на подоконнике, и без конца ставила пластинки с записями Изабеллы Юрьевой, Вадима Козина и Клавдии Шульженко. Дальше по коридору была небольшая комната, в которой жила эстонка Мальвина Вершинина — жена маршала авиации, который в последнюю минуту вывез ее из пылающего Таллина. Она была блондинка, краснощекая, как матрешка. Языка она не знала, и мы ее почти не видели. В комнате рядом не жил никто. Вскоре Мальвина эвакуировалась на «большую землю», а на ее площадь въехала молодая вдова с двумя детьми. Ребят звали Миша и Маша. Это были маленькие тихие еврейские дети, с которыми вскоре подружилась моя сестра Наташа. После простора Набережной, залитой солнечным светом,

мы оказались в узкой темной, как ущелье, улице. Квартира наша располагалась на 2-м этаже, то есть на дне ущелья, так что даже три окна едва пропускали дневной свет. Сама комната была когда-то роскошной. Весь дом был построен во времена модерна. Высокие двери имели бронзовые ручки, на окнах были такие же шпингалеты, потолок был весь покрыт лепниной, изображающей пышные гирлянды из маков. В углу слева от входа стояла громадная кафельная печь, изразцы которой также были покрыты рельефом из маков. Печь была молочно-зеленого цвета. Дверца ее была декорирована бронзовой решеткой, изображавшей маки. В комнате не было ничего. Мы с трудом перетащили с Васильевского острова два тюфяка, подушки и одеяла. На окне стояла какая-то посуда, тарелки, чашки. Потом, позже, мама перевезла еще кое-что из вещей. Но почти вся мебель, книги, картины, зеркала остались на старой квартире и позже были разграблены.

Мама отвела Наташу в новый детсад, а я осталась одна в этой большой (39 метров) полутемной и пустой комнате. Мама ушла на работу. Два или три дня я маялась от безделья, одиночества и голода в ожидании маминого возвращения. Наконец мама повела меня в школу. Она была рядом с нашим домом (дом № 24). В отличие от школы на Васильевском, эта школа была жива. В вестибюле нас встречали завуч и директор. Директора звали Александра Самсоновна Легкова. Она была небольшого роста. Лицо ее было странного красноватого цвета (точно покрыто экземой). Черные волосы были высоко подняты надо лбом. Холодные требовательные глаза глядели строго, почти сурово. Вся ее фигура излучала властность, недоступность, строгость.

В школе царил строгая дисциплина. Все подчинялись установленному порядку.

Мы все имели тогда довольно жалкий вид, но мальчишки были особенно жалкими. Их головы на тонких шеях были обриты наголо; голова, покрытая пятнами копоты, расчесами и струпьями, напоминала географический глобус. Большинство девочек не было обрито наголо, поэтому девочки выглядели более благообразно.

Без четверти 8 вся школа выстраивалась перед входом на Плуталовой улице в колонну. В каждой шеренге было 4 человека. Между классами были строго определенные интервалы. В присутствии директора и завуча преподавательница физкультуры Лебедева давала команду «Смирно! На-лево! Марш!». Под барабанный бой мы начинали свое ежедневное движение в сторону Малого проспекта Петроградской стороны. Шли по Малому до Кировского пр., по Кировскому мимо ДК Промкооперации,⁹ сворачивали на Большой пр., шли по Большому до Плуталовой, и по Плуталовой до школы. Следовала команда «Стой» и «Разойдись». На этот марш уходило ровно полчаса. В 8.20 каждый день начинался обстрел. Иногда немцы стреляли не по нашему району, тогда мы спокойно шли в столовую завтракать. На завтрак была обычно какая-нибудь каша, совсем немножко, кусочек хлеба и кофе суррогат. Иногда к кофе давали бомбошки на сахарине, но иногда вместо каши давали плоские и твердые сырники из соевого жмыха. Они назывались шроты и были так омерзительны на вкус, так ужасно пахли какой-то тошнотворной кислотой, что даже мы, голодные дети не могли их есть. Если обстреливали наш район, то мы отправлялись в бомбо-

убежище. Это был подвал, разделенный на части капитальными стенами. В каждом помещении было по 2—3 класса. При свете фонарей «летучая мышь» мы продолжали заниматься, чутко прислушиваясь к тому, что происходит наверху. Иногда снаряды ложились совсем рядом, а иногда мы слышали их свист и отдаленный взрыв. Мы уже хорошо знали, что если слышен свист, то снаряд разорвется где-то дальше. Артолет редко длился дольше часа. После отбоя тревоги (восхитительная мелодия горна) мы возвращались в классы. Уж не знаю, как Александра Самсоновна обеспечила получение школой тетрадей. Но тетради у нас были прекрасные из настоящей мелованной бумаги с полями и нежно-сиреневыми линейками. Мы старательно занимались чистописанием. Александра Ивановна очень красиво выводила буквы на классной доске, а мы должны были все точно скопировать в тетрадь. Мне чистописание давалось сравнительно легко, наверное, потому, что я с пяти лет много рисовала. Но вот заглавная буква «О» мне никак не удавалась. Почему-то она разваливалась в верхней части, как лопнувший плод. Александра Ивановна оставила меня после уроков одну в полутемном классе и велела написать целую тетрадь заглавной буквы «О». И я писала, писала, писала. Мне было холодно. Руки замерзли, я тихо плакала, но писала. Вдруг в класс вернулась за чем-то Оля Науменко, милостивая белокурая девочка с вьющимися волосами и веселым круглым лицом. Увидев мои тщетные усилия, она села рядом и написала последние три страницы. Ура! Пытка закончилась. Александра Ивановна была довольно жестокой женщиной и никогда никого не щадила. Однако, надо признать, что ее требовательность привела к тому, что мы в результате стали хорошо и грамотно писать (ошибки она жестоко высмеивала) и читать. Кроме того, выработалась привычка работать.

На большой перемене мы шли в библиотеку, заведовала которой Лидия Михайловна Конийская. Это была энергичная женщина с опухшими от голода лицом и ногами, но очень живая и полная энтузиазма. Можно с уверенностью сказать, что именно она привила многим из нас любовь к книгам. Она также была бессменным руководителем самодеятельности. Однажды, услышав в актовом зале звуки рояля, я заглянула туда и увидела сидящую за роялем преподавательницу пения Иду Ильиничну Багал и Лидию Михайловну. Лидия Михайловна спросила, что мне надо. И я, совершенно не смущаясь, сказала, что хочу петь. Учителя переглянулись, и Лидия Михайловна спросила, что я знаю. Еще живя на Тучковой набережной, я целыми днями слушала музыку, которую заводили моряки на кораблях. Это были песни Шульженко «Синий платочек», «Чайка», «Землянка» и др. Я сказала, что хочу спеть песню «Чайка». Это была примитивная лирическая песня о том, как моряк ушел в море, а девушка, оставшаяся на берегу, просит чайку передать ему привет. Конечно, это была не детская песня, но спела я ее хорошо. У нас в семье хорошо пел папа, а также бабушка Вера Александровна, которая не только пела, но была еще и прекрасной пианисткой. Она умерла в 1939 г., так и не успев научить меня музыке. Но слух у меня был хороший, и меня записали в школьный хор, где я вскоре под руководством Иды Ильиничны стала солисткой. Ида Ильинична была прекрасная, добрая, терпеливая, очень скромная и мягкая женщина.

На бледном худеньком лице ее каким-то нежным светом светились большие светло-зеленые глаза. У нее были густые, прямые ярко-рыжие волосы, которые выбивались из тяжелого узла на затылке. Она была неизменно одета в синее платье. Ногти рук ее были коротко подстрижены. Руки легко скользили по клавишам. Она терпеливо учила меня петь просто и искренне, не голосить и не выпендриваться, а точно следовать мелодии и ритму.

Сначала, до прихода Иды Ильиничны, учителем пения был у нас старый и больной человек Зальман Моисеевич, которого мальчишки прозвали Заяц Моисеевич, хотя на зайца он никак не походил. Он грубо и тупо барабанил по роялю обмороженными руками, не обращая внимания на шум, который поднимали дети.

В наш репертуар тогда входили две песни: «Смелого пуля боится, смелого штык не берет» и «Я красный пестрый попугай». Под эту топорную музыку петь не хотелось, учитель нам не нравился, и мы со всею жестокостью, на которую способны дети, шалили, кричали и безобразничали. Вскоре Зальман Моисеевич умер.

К 7 Ноября было решено подготовить концерт. Коллектив, который участвовал в подготовке концерта, назывался агитбригада. Лидия Михайловна подготовила литературно-музыкальный монтаж, состоящий из стихов, песен, танцев. Аккомпанировала нам Ида Ильинична.

Вообще надо сказать, что большинство учителей, не щадя сил, занимались с нами и после уроков. Быть может, им не хотелось из относительно теплой школы, где была жизнь, звенели детские голоса, возвращаться в темные и промерзшие квартиры. Для учителей, которые жили далеко, Александра Самсоновна организовала в школьной мансарде стационарное общежитие. Мансарда была разделена на маленькие кельи. В одной из них жила преподавательница естествознания Мария Александровна Сосипатрова. Она подружилась с моей мамой и иногда приглашала меня к себе в мансарду, где показывала мне интересные книги по естествознанию. Организация этого общежития была еще одним добрым подвигом нашей суровой Александры Самсоновны. Вполне возможно, что наличие этого скромного жилья многим из далеко живущих учителей спасло жизнь. Надо сказать, что она вообще была прекрасным организатором. Нашими шефами были завод «Радист»,¹⁰ база Балтийского флота, расположенная на Каменном острове, радиокомитет. Мы же, в свою очередь, шефствовали над госпиталями района. Старшеклассники помогали санитарам, а мы время от времени посещали госпиталь со своими песнями и стихами, развлекали раненых. Иногда нам доверяли разматывание и сматывание бинтов, поступивших из стирки. Смотанные бинты шли снова на стерилизацию. Работа эта была довольно тяжелой. В автоклавной стоял тяжелый запах мыла, грязных бинтов и пара. Проработав часа два, мы уходили домой готовить уроки. Второй осенней работой, которую мы осуществляли, был сбор осенних листьев в парках и садах, которых немало на Петроградской. Младшие дети собирали листья в мешки, которые старшеклассники грузили на полуторку, пока кузов не был полностью набит этими мешками. Затем листья везли на фабрику Урицкого,¹¹ где их сортировали, мыли, сушили, резали и пропитывали какими-то ароматизаторами. Из этого сырья

делали эрзац-табак, который не без юмора был назван фронтовиками «Осенний сон».

Перед тем как приступить к приготовлению уроков, я должна была идти на Ординарную улицу, где располагался Наташин детский сад. Это было недалеко, но надо было миновать три проходных двора, каждый из которых заканчивался аркой. Все три дома были разбиты снарядами. В провалах свисали стропила и перекрытия. Кое-где были видны разрушенные квартиры, развороченные стены и печи, разбитая мебель, поломанные окна и двери. В сумерках, а позже, зимой, уже в темноте все это производило жуткое впечатление. Бежать через эти дворы было страшно, и я изо всех сил волочила за собой спотыкающуюся и ревущую маленькую Наташку. Придя домой, я должна была растопить печку-буржуйку, которую сложил по маминой просьбе печник-инвалид. От буржуйки шла длинная труба, которая входила через вьюшку большой печи в дымоход. Растопить печь бывало совсем нелегко. Дрова были случайными, добытыми дворничихой Фросей в руинах окрестных домов, иногда это были части деревьев, разбитых снарядами, иногда разбитые двери, рамы или поломанная мебель. Порой приходилось долго раздувать огонь в печке, дым шел в комнату, дрова не разгорались, глаза слезились, но, наконец, печурку удавалось растопить, огонь занимался, труба раскалялась докрасна. На печке варилась какая-нибудь жидкая каша и закипал старый эмалированный чайник, так, чтобы к маминому приходу с работы было тепло и можно было поесть.

К этому времени маме удалось перевезти со старой квартиры мебель, которую еще не украли, в числе которой был большой дубовый стол. За этим столом я в шапке и пальтишке, подаренном Фридой Казимировной, при свете коптилки (электричество было не всегда) делала уроки. Маленькая Наташка играла под письменным столом, где она соорудила кукольный дом. Фрося продала маме огромную двуспальную кровать «биддермейер» и славянский шкаф, а Мария Александровна пожертвовала маме кружевные гардины. Стало немного уютнее. Сын Лидии Михайловны Конийской, Никита, сделал нам радиопроводку. На стене появился черный репродуктор-тарелка. Это было великолепно. Радиокomitee организовал вещание так, что между сводками информбюро передавали письма с фронта, музыку, великолепные литературные передачи. Жизнь стала более насыщена впечатлениями.

Наступила зима 1942/43 г. Она была снежная и не такая суровая, как первая военная зима. Приближался Новый год. Мама дала мне 30 рублей и сказала, чтобы я перед школой сходила на Дерябкин рынок,¹² находившийся в конце Малого проспекта, и купила елку. Я была в восторге, и в 7 часов утра отправилась за елкой. Город был засыпан высокими сугробами. В воздухе пахло печным дымом. В сугробах были протоптаны тропинки. Народу почти не было. Я довольно быстро дошла до рынка и у какого-то инвалида купила чудную маленькую елочку. Возвращаясь, я услышала, что сзади за мной кто-то идет. Шаги приближались. Я испугалась. Тогда бывали нападения на детей. Об этом часто судачили девчонки и уборщицы. Я пошла быстрее, а потом побежала, но вскоре поскользнулась и полетела в

сугроб, обмирая от страха. Из сугроба меня извлекла одна из учителей нашей школы Ксения Владимировна. Оказывается, это она шла за мной, торопясь в школу.

Елка была принесена мною домой, а мы все трое — мама, Наташа и я — приступили к ее украшению. Мы вырезали из бумаги бабочек, стрекоз, кораблики, куколок, матрешек и из бумажных полосок клеили цепи. В украшении нашей елки приняли участие соседи — Фрида Казимировна и Муся. У них сохранились довоенные игрушки — стеклянные шарики и звезды из фольги. Несколько шариков подарила нам Мария Александровна. Елка создавала праздничное настроение в нашей пустоватой комнате. В школе тоже была елка. Ее установили и украсили рабочие завода «Радист». На ней горели крошечные цветные лампочки. Она стояла в столовой. В школе праздник разделился на три части: торжественная часть и концерт самодеятельности, потом бал для старших школьников и для отличников младших классов — праздник на базе моряков Балтийского флота. Там для нас был организован концерт силами матросов и нашими. Мы дружно пели и плясали. А потом нас очень сытно накормили пшенной кашей с маслом и кофе со сгущенным молоком. Очень сладким. Я рассказываю об этом так подробно, чтобы показать, как о нас заботились, старались занять, подбодрить, подкормить. Не давали падать духом.

Наступил январь 1943 г. Все чаще в городе была слышна канонада. Мы понимали, что где-то совсем недалеко от города идут бои. Мы ждали и надеялись, что скоро прогонят врага, и город наш вздохнет свободно. Об этом мечтали все от мала до велика. 18 января около 5 часов вечера мы услышали по радио радостную весть: блокада прорвана, взломано железное кольцо, душившее город. Радость была великая. Мы все побежали в школу. Там уже собрались учителя, директор школы, представитель райкома партии, рабочие завода «Радист». Возник митинг. Голоса выступающих дрожали от волнения и радости. На глазах у многих были слезы. По радио звучала музыка, стихи. Радостную сводку передавали несколько раз, говорили о разбитых немецких частях и о том, что взято много пленных. И вот в один из последних дней января впервые за время войны по улицам Ленинграда провели пленных немцев. Это было днем, мы были в школе, но занятия прервали, и мы вышли на Большой проспект Петроградской стороны. Была сырая промозглая погода. Серое небо накрыло город. Под ногами была грязная снежная каша. Мы стояли вдоль всего тротуара, с нами были и учителя, и просто жители города, оказавшиеся в этот час на улице. Стояла страшная зловещая тишина, нарушаемая только шаркающими шагами пленных. Они были ужасны. Грязные, обмороженные, замотанные каким-то тряпьем поверх серых летних шинелей. На головах у многих были женские платки и полотенца. Они шли, не глядя по сторонам, длинной серой лентой. Они боялись поднять глаза. Они боялись, а город молчал. В этом молчании было страшное напряжение, в котором ненависть постепенно сменялась презрением. Теперь уже никто не сомневался, что мы победим. Ленинградцы еще раз продемонстрировали достоинство и выдержку. Никто не закричал, никто не выругался. Эти полудохлые сейчас немцы

заставили город заплатить такую высокую цену, что никому не пришлось в голову злорадствовать.

Вскоре нас ждала еще одна огромная радость — пришла весть об освобождении Сталинграда. Великая битва на Волге положила начало победам, которые в конечном счете привели нашу Армию в Берлин. Снова был митинг в нашем огромном актовом зале.

Сводку от Советского Информбюро читала заслуженная учительница Зинаида Васильевна Северова. Читала сквозь слезы радости, заливавшие ее лицо. Эти победы очень подняли наш дух. Хотелось учиться лучше, петь, танцевать и радоваться. К нам в школу стали приезжать знаменитые гости: поэты, артисты, чтецы. Так нас посетили Вера Инбер,¹³ артистка радио Мария Григорьевна Петрова,¹⁴ певица Софья Преображенская,¹⁵ артист радио Ефрем Флак¹⁶ и многие другие. Нас, детей, стали приглашать в радиокomiteeт, где мы приняли участие в радиопередачах, транслировавшихся не только в городе, но и на фронте. Одной из очень сердечных и нужных передач были «Письма на фронт». Почта работала тогда плохо. Многие фронтовики не знали, что происходит дома, в городе в их семьях, и письма, передаваемые по радио, очень радовали бойцов. Так однажды мой отец, который был простым солдатом-зенитчиком (его батарея стояла в Колпине), услышал в передаче мое письмо, которое я сама и прочитала, а потом спела песню «С далекой я заставы». Отец прибежал в землянку по зову товарищей и застал только вторую часть письма и песню, но его сослуживцы все ему пересказали, и все были очень рады.

Приближалось 23 Февраля — День Красной Армии. Вся школа готовилась к этому празднику. Мы с Люсей Славиной подготовили небольшую сценку. Она изображала молоденькую девочку в платочке, а я — молодого бойца. Для этой роли мне где-то раздобыли маленькие сапоги, галифе, гимнастерку и пилотку. Когда меня одели во все это, мама заплакала — так я была похожа на папу. Сценка, которую мы разыгрывали, изображала встречу влюбленных после войны. Мы выходили навстречу друг другу, обнимались, а затем начинали танцевать веселую пляску. Люся снимала платочек с головы и кружилась, помахивая им, а я выступала подбоченься и пускалась впрысядку вокруг своей возлюбленной. Остановившись, мы кричали: «Ура! Советскому народу-победителю!».

В этот день нас, учащихся младших классов, принимали в пионеры. Но это не было дежурным мероприятием. В пионеры в этот день принимали только отличников. Я была среди них. Надо сказать, что учились мы хорошо, старались. Из 32 учеников нашего 16 класса 19 были отличниками. Быть может, все дело было в том, что мы были переростками. Большинство из нас поступило в 1 класс не в 8 лет, а в 9. Мы были более развитыми, чем те, кому было 7—8 лет. Но все равно результат этот не стоит умалять, так как надо помнить, что это были голодные дети, живущие в экстремальных условиях. В этот торжественный день наша школа была отмечена почетной грамотой Советского правительства, школе было присвоено имя великого русского педагога Ушинского. С этим высоким званием нашу школу поздравил сам Сталин.

Теперь школа носит имя академика Лихачева.¹⁷ Я ничего не имею против самого Дмитрия Сергеевича, но, справедливости ради, надо сказать, что учился он в бывшей гимназии Лентовской совсем недолго и это вряд ли можно считать уважительной причиной для переименования школы. Ведь присвоение школе имени Ушинского было признанием высокого подвига учителей, беззаветно трудившихся в ней во время блокады.

Итак, 1942/43 учебный год близился к концу. Приходя из школы домой в нашу, похожую на склеп комнату, я садилась на диван и слушала музыку. Ее передавали с трех до половины пятого. Музыка была прекрасна и отвлекала меня от грустных мыслей. Слабый отблеск дневного света, отбрасываемый окнами противоположного дома, падал на паркет. В квартире никого не было. Ежедневно вместе со мной музыку слушала крошечная мышка. Она располагалась в пыльном луче света, садилась на задние лапки, передние складывала на животике и внимательно слушала музыку.

Наступил день, когда наши дрова пришли к концу. Осталось одно громадное полено — березовый комель, который мама разрубить не смогла. «Сделай что-нибудь!» — сказала она, уходя на работу. Делать нечего — я начала колоть это полено. Полено не поддавалось. Я засадила в него три топора — наш и два соседских, но расколоть его я не могла. К счастью, в этот момент пришла с работы соседка — Екатерина Дмитриевна Бойцова по прозвищу Пецка. Она была псковитянкой и вместо буквы «Ч» произносила «Ц». Слова выходили смешными «девоцка», «цашецка», «пецка». Отсюда и произошло прозвище. Увидев мои старания, она дала мне колун и велела бить по уже заклиненным топорам. Часа три я била по этому ужасному полену, но все-таки расколотила его на мелкие корявые щепки. Этих щепок хватило на два дня. И вот, когда мы уже совсем не знали, где взять дров, с папиной работы нам привезли полуторку коротко напиленных прекрасных дров. Было это в мамино отсутствие. На дворе был двадцатиградусный мороз. Оставлять на дворе эти прекрасные дрова было нельзя. Что делать? Я нарядила маленькую Наташу во все теплые вещи, которые только нашлись в доме, и поставила ее около кучи дров — сторожить. Сама же я стала перетаскивать дрова в наш сарай. Сарай находился примерно в 100 метрах от места, где вывалили дрова. За пять часов я перетащила три кубометра дров в сарай. Наташу я заставляла прыгать и топать, чтобы не замерзнуть. Наконец дрова были в сарае. Пришедшая мама не могла поверить своим глазам.

Наступила весна. Я перешла во второй класс. У какой-то женщины в нашем доме мама выменяла три детских платья взамен на большую шелковую шаль с кистями — такие были в моде перед войной. Это были мои обновки на лето. Мне мама достала путевку в детский лагерь на Каменном острове. Это было великолепно. Наш отряд (1—2-е классы) расположился в одном из особняков на набережной Невки. Зеленые аллеи, особняки, река всегда такая красивая, ивы, склоняющиеся к воде, — все это привело меня в состояние восторга. Мы ходили на физкультуру, занимались пением, разучивали стихи. Наблюдали, как ребята из старших классов делали гимнастические упражнения. Столовая располагалась в старинном особняке, где еще сохранилась роскошная мебель из карельской березы (узнала, что такой вид дерева называется «птичий глаз»), огромные зеркала и синие

штофные обои. Здесь происходили все торжественные собрания, сюда к нам приходили шефы-моряки. Месяц пролетел быстро.

Я вернулась домой к Наташе и маме. Летом мы убрали школу, а старшеклассники разбирали руины, в частности те три проходных дома, через которые я водила Наташу в детский сад. Руины разбирали по камешку, по кирпичику. Целые кирпичи складывали в штабеля, а битые — в кучи: мелкие в одну, крупные куски в другую. Однажды, когда 4-й класс разбирал печную трубу, она рухнула, и Саша Сорочкий, любовь всей школы, председатель совета пионерской дружины упал и получил ранение головы. Саша был пионером-образцом. Он точно сошел с агитплаката. Глаза у него были голубые, волосы русые, коротко стриженные. На груди алый галстук. Все им восхищались. Его травма повергла всех в печаль. Вскоре он пришел с забинтованной головой, но здоровый и снова стал работать в своем отряде. Ребята третьих и четвертых классов были направлены на огородные работы в Новую Деревню в совхоз. Они вскопали огороды и посадили турнепс и брюкву. В результате их трудов вырос неплохой урожай, часть которого была отдана школе для пополнения детского рациона. Каким-то образом часть огорода забыли прополоть, а когда настала пора убирать, то оказалось, что именно тут-то и вырос самый крупный турнепс. Три из них, достигшие размеров большой авиабомбы, были выставлены в райкоме в качестве достижений школы, которую наградили почетной грамотой. Лето прошло быстро, и снова начались занятия. Правда, наша школа стала женской. Отныне мальчики и девочки обучались отдельно. Мальчики старших классов ушли на фронт. Мы их провожали всей школой. Их судьба мне неизвестна. Знаю только о Саше Девятиярове, который служил на катерах Балтийского флота, был ранен, а после войны поступил в Высшее художественно-промышленное училище и закончил факультет монументальной живописи. Он учился со мной на одном курсе, несмотря на то, что был значительно меня старше, так как после войны ребят демобилизовали не сразу. Служба многих растянулась на 7—8 лет.

Снова начались обстрелы. Мы теперь не ходили в бомбоубежище, так как частенько случалось, что людей засыпало в подвалах, а иногда и заливало водой из лопнувшего водопровода. Дома во время обстрела к нам прибегала Рая Виленская, жившая на 5-м этаже. И мы — мама, Наташа, Рая и я — садились, сбившись в кучку, на мамину двуспальную кровать в надежде, что если в наш дом попадет снаряд, то убьет всех сразу. Весьма наивное предположение, но это успокаивало. А это было уже немало.

В школе дела шли хорошо. Весь школьный быт становился все более и более организованным. Отсутствие мальчиков изменило характер дисциплины. Порядка стало больше, отклонений от правил стало меньше. В школе стало чище. Нас два раза в четверти подвергали медосмотру. Появились новые продукты: соевое молоко, соевое суфле, норма хлеба увеличилась. Но были и курьезы. В нашей столовой появилась каша из круп, поднятых водолазами с затонувших на Ладожском озере барж. В основном это были рис и овсянка. Крупа эта полгода, а то и больше, пролежала в воде и, конечно, начала гнить. Она омерзительно пахла, да и вид имела отталкивающий. Эту кашу отпускали без талонов. Некоторые все-таки ели ее, но таких бы-

ло меньшинство. Кашу эту прозвали «подарок морского царя». Юмором дети прикрывали свое разочарование. Есть хотелось постоянно, но говорить об этом было не принято. Принято было переносить голод с достоинством. Бывали и исключения. В нашем классе училась Инна Кондратьева. Это было крайне отталкивающее существо: истеричное, плаксивое и эгоистичное. Она всегда хныкала, скулила, что хочет есть. Глаза у нее были на мокром месте. Кожа ее была серо-коричневого цвета, она была очень нервной и несдержанной. Однажды она принесла откуда-то кулек с крупной коричневой каменной солью. Она принялась сосать ее во время уроков, при этом громко причмокивала, вызывая слюноотделение у окружающих, которых она довела до того, что на перемене ее вздули. Я не принимала участия в этой расправе, но в душе была на стороне тех, кто ее поколотил. Александра Ивановна отняла соль, прекратила драку и строго-настрого запретила приносить соль в школу.

Однажды в конце 1943 г. днем во время занятий начался жестокий артиллерийский обстрел нашего района. Нас быстренько загнали в бомбоубежище. Занятия не проводили. Снаряды сыпались где-то рядом. Вдруг раздался страшный взрыв. Земля и школа заходили ходуном. Казалось, что стены сейчас обрушатся на нас. За первым взрывом последовал такой же второй, а затем — более слабый третий. Я уже говорила, что дом, в котором я жила, находился рядом со школой. В этот день у мамы был выходной. Она оставила дома Наташу, чтобы нагреть воды и помыть ее. Когда раздалась эта ужасная взрывы, я вообразила, что снаряд попал в наш дом. Я умоляла стоящих в дверях бомбоубежища учителей выпустить меня, но они точно не слышали меня. Немец перенес обстрел в другой квадрат. Взрывы звучали глухо все дальше и дальше. Наконец отбой. Я буквально проскользнула между ног учителей и кинулась на улицу. Вся улица была наполнена строительной пылью. Два высоких дома № 22 и 20 перестали существовать. Вокруг руин сновали санитарные и пожарные машины. Я помчалась домой и, еще не доходя до дома, увидела, что в наш дом тоже попал снаряд, но, видимо, относительно небольшой. Вбежав на лестницу, я увидела, что двери всех квартир распахнуты, на полу битая штукатурка, все прекрасные витражи лестничных окон выбиты, в воздухе пыль и дым. Наша комната располагалась сразу слева от двери. Я толкнула дверь... и разрыдалась. Передо мной была мирная картина: в комнате горел свет, и мама спокойно мыла Наташу, стоящую в большом тазу. Взрыв произошел на нашем этаже в соседней квартире. Снаряд прошел 4 этажа, но вся сила взрыва была направлена в сторону от нашей квартиры. Я стояла, переводя дух, не в силах справиться с волнением. Прибежала Рая Виленская. Сказала, что в домах 20 и 22 есть жертвы, что там работают бойцы МПВО и что в этот раз нашему району крепко досталось.

Под Новый год нас, маленьких солистов хора — Галю Огневу из параллельного класса и меня, пригласили во Дворец пионеров (Аничков дворец) на встречу с Софьей Петровной Преображенской — замечательной певицей Кировского театра (Мариинского). Она хотела нас прослушать. Войдя в небольшой светлый зал, мы увидели высокую рыжеватую женщину, закутанную в белый пуховый платок. Она поздоровалась с нами низким глубоким голосом. Потом Ида Ильинична, сопровождавшая нас, сказала, что

такой низкий женский голос называется контральто и что это большая редкость — такой голос.

Софья Петровна спросила меня, что я буду петь. Я сказала, что сейчас мы разучиваем колыбельную Аренского, «Весну» Дандре, а Галя пела «Качели» (автора я не помню).

Софья Петровна внимательно нас слушала. Сказала: «Ну что ж, неплохо». А про меня сказала, что со мной следовало бы заниматься серьезно. Ида Ильинична была очень довольна и так рада за меня, что даже поцеловала меня в голову. Софья Петровна села за рояль и пропела одну фразу из колыбельной, показывая мне, какая должна быть интонация. Я повторила. Она сказала: «Хорошо». Затем мы вышли, вежливо попрощавшись, а Ида Ильинична осталась, но скоро вышла к нам. Во дворце было очень холодно. Отопить такое огромное здание было трудно. Мы замерзли и были рады поскорее оказаться дома.

В это же время произошло еще одно, как выяснилось позже, очень важное для меня событие. В нашу квартиру вселилась из разбитой снарядом квартиры № 12 молодая женщина — боец МПВО Марина Бровкина — внучатая племянница придворного фотографа царя Николая II. Самого фотографа уже не было в живых, но от него остались два потрясающих альбома — каталоги всех драгоценностей, принадлежащих царской фамилии. Марина принесла эти альбомы нам, и я целыми вечерами при свете копилки перелистывала тяжелые толстые страницы, где сепией были изображены дивные царские украшения. Это была первая ступенька, подводящая меня к изучению ювелирного искусства, ставшего впоследствии моей специальностью.

Новый 1944 год наступил как-то незаметно. Все дело для нас с Наташей было в том, что мама, которая так мужественно держалась в самые трудные дни, теперь стала сдавать. У нее все чаще случались приступы раздражения, почти ярости. Я была слишком мала, чтобы понять, что силы ее кончились. В значительной степени этому способствовало то, что столовую, в которой мама работала кассиром, перевели в Новую Деревню. Это было далеко. Трамвай № 3 ходил редко. Большую часть пути мама шла пешком в любую погоду. С нею происходило что-то странное. Свое раздражение она срывала на мне, кричала на меня, а иногда и поколачивала, хоть я и старалась помогать ей во всем, как только могла. Меня это очень огорчало. Я тихо плакала, когда мама меня не видела. Жизнь стала какой-то безрадостной. Однако одна огромная радость пришла к нам 27 января 1944 г. Наконец была полностью снята блокада. Впервые за дни блокады нас навестила моя любимая тетя Соня — жена маминого брата дяди Юры. Она работала на казарменном положении, на аэродроме, находящемся около Средней Рогатки. Это конец Московского проспекта. Дядя Юра возглавлял в штабе Ленинградского округа службу аэрофотосъемки. Оба они не могли выкроить время, чтобы повидаться с нами. Она оставила телефон, по которому можно было снестись с дядей Юрой. Наступала весна. Я стала много рисовать, особенно по просьбе одноклассниц. В это время в нашем классе появились три новые девочки. Их возвращение в Ленинград стало возможным благодаря снятию блокады. Среди них была Виола Стычин-

ская, прозрачная высокая блондинка со светлыми слегка раскосыми глазами. Ее опекала бабушка, и девочка всегда была хорошо и опрятно одета.

Однажды нам задали на уроке рукоделия сшить кисеты в подарок раненым бойцам ко дню 23 Февраля. Все смастерили что-то довольно беспомощное, но Виола потрясла наше воображение, продемонстрировав два кисета, сшитые под руководством ее бабушки. Это были маленькие шедевры истинного рукоделия. Здесь была и аппликация, и гладь, и бисер. Это был очень полезный пример, переносящий наше воображение в мир женственности и красоты, от которого война нас отторгла на долгие три года.

Город оживал. Сняли затемнение. На улицах стало светлее. Вернулись многие эвакуированные. В классе стало больше учениц.

По карточкам теперь можно было получить крупу, сахар, маргарин, а также английский горький шоколад и американскую тушенку.

Правда, чтобы получить все это, надо было получить карточки, а чтобы получить карточки, надо было сперва получить справку в жилконторе, а затем выстоять жуткую очередь за стандартной справкой, подтверждающей, что вы еще живы. Справки эти выдавали во втором дворе дома на Бармалеевой улице. Без этой справки карточек не давали. Это была садистская иезуитская в своей жестокости мера, буквально пригибающая к земле и без того измученных людей. Конечно, все эти очереди выстаивала я. Мама уже не могла стоять в очередях. Ее силы убывали на глазах. Ею все больше овладевала апатия.

1 мая мама вдруг замолчала, перестала есть, реагировать на нас, детей, и вообще на всех. Я плакала, просила ее поесть, пыталась уложить ее спать, но она молча отводила мои руки и продолжала неподвижно сидеть, уставившись в одну точку. Через два дня этой пытки я побежала к Виленским, живущим на пятом этаже нашего дома. Ревекка Львовна Виленская работала вместе с мамой. Она пришла. Все поняла и, взяв телефон дяди Юры, позвонила ему.

С фронта отозвали на два дня отца. Он пришел, отправил нас с Наташей во двор. Он потратил несколько часов, доказывая маме, что это он. Она его не узнавала очень долго.

Наконец он пробился через ее безумие, обнял ее и повел в психиатрическую больницу на Васильевский остров.¹⁸ Мы с Наташей стояли на углу Плуталовой и Большого и молча смотрели им вслед. Большой был залит солнцем, мы долго видели их худенькие фигурки, которые все удалялись и наконец пропали из виду.

Отец вернулся на фронт. Мы остались одни.

Конечно, и школа, и соседи помогали, не дали пропасть, но с этой минуты я стала «главой» нашей маленькой семьи, а было мне 11 лет. Я водила Наташу в детский сад, варила пищу, кормила Наташу и ела сама не слишком-то вкусные обеды, стирала, выкупала по карточкам продукты, убирала квартиру и училась. Кончился учебный год, мы перешли в третий класс. Чтобы занять оставшихся без дела и надзора детей, в нашей школе развернули дневной стационар — пионерскую площадку. В классах поставили кровати, дети принесли белье. Здесь мы проводили день. Нам читали, нас водили на экскурсии, в кино. Мы выпускали стенную газету. Нас кормили

два раза в день. И здесь мы спали днем — тихий час. Я забрала Наташу из детсада и записала ее в 1-й класс. Теперь мы все время были вместе.

Вечерами в нашем большом дворе все дети играли в лапту. Это было замечательно, но почему-то вызывало раздражение у нашей соседки Фриды Казимировны. Она всячески пыталась загнать нас в квартиру. Но что нам было делать в этом темном и пустом помещении? А во дворе было светло и весело. Я ее не слушалась, не признавая ее права приказывать нам.

Днем мы часто ходили в кино. У нас на Петроградской работало несколько кинотеатров: «Арс» на площади Льва Толстого, «Эдиссон» на Большом проспекте около Бармалеевой ул. и «Молния» недалеко от Введенской. Начиная с 1943 г. шли многие фильмы. «Два бойца», «Она защищает Родину», «Актриса», «Жди меня» и множество трофейных фильмов, иногда просто замечательных: английские фильмы «Балерина», «Повесть об одном корабле», «Леди Гамильтон», американские фильмы с Диной Дурбин «Первый бал», «Сестра его дворецкого», «Песнь о России», «Весна» и замечательные комедии «Тетка Чарлея» и «Джордж из Динки-джаза».

В один из дней нас повели на фильм «Багдадский вор» в кинотеатр «Аврора». Надо сказать, что в это время уже разразилась в Ленинграде эпидемия кори. Сидя в кино, я вдруг поняла, что все вокруг меня окрасилось в красный цвет, глаза слезились, болела голова, и было очень жарко. Когда мы вышли из кино, я подошла к Лидии Михайловне и сказала, что мне плохо. Она и сама уже увидела это. Меня довезли до дома и вызвали врача. Температура была за сорок. Врач заставил завесить окна, прописал лекарства. Мне не становилось лучше. Соседка забрала Наташу к себе и позвонила дяде Юре. Он приехал на джипе, завернул меня в большое одеяло и отвез в больницу Филатова.¹⁹ Несколько дней я была очень плоха. Когда стала выздоравливать, ко мне в палату положили и Наташу, которая тоже заболела. Воистину «не было бы счастья, да несчастье помогло». В больнице было очень хорошо для нас, одиноких детей. Было светло, чисто, нас кормили, купали, с нами занималась замечательная женщина — сестра-воспитательница Валентина Васильевна Павлова. До войны она работала художником в Большом кукольном театре на улице Некрасова. Театр эвакуировался, а Валентина Васильевна осталась и поступила работать в больницу Филатова. Она много нам читала, под ее руководством мы рисовали, девочки занимались рукоделием — учились вышивать. У меня до сих пор сохранился обрывок простыни, на котором я пыталась вышивать гладью. Когда мы стали выздоравливать, нас вывели во двор больницы. Двор был большой, зеленый, заросший кленами и липами, а также высокой зонтичной травой — очень красивой. С тех пор я очень люблю эту траву. Сидя в шезлонгах, мы потихоньку приходили в себя. Два раза нас навещил дядя Юра и один — тетя Соня. Мы провели в больнице 5 недель. Нас продержали там подольше, зная, что мы остались одни. К чести всех взрослых надо сказать, что ни школа, ни соседи не сделали попытки отправить нас в детский дом, а мы научились самостоятельно справляться с неизбежными трудностями военного быта.

В середине июля наша школа отправила большой отряд детей в пионерский лагерь, организованный в Старой Ладогe. Впервые за годы войны мы выехали за город. Нам выдали сухой паек, в котором помимо прочих продуктов были свежая белокочанная капуста и свекла. В течение всего пути мы упоенно грызли эти овощи. За окнами мелькали пейзажи. Меня все приводило в восторг: и бархатные кочки болот, и лужицы стоячей воды, и цветы в поле, и деревья, и облака. Все-все казалось мне волшебным и невозможно красивым. С собой мы взяли по одеялу, подушке, наволочке, простыне, пододеяльнику и полотенцу. Это получился увесистый тюк, а у меня таких тюков было два плюс две сетки с продуктами. Нас выгрузили в Новой Ладогe, посадили в грузовик и повезли вверх по Волхову. Через час нас снова выгрузили, посадили на паром и перевезли на другой берег Волхова. Отсюда до лагеря надо было идти километра два лесной дорогой. Отряд растянулся по ней и медленно полз к лагерю. Конечно, в самом хвосте тащилась я, так как Наташа была слишком мала, чтобы нести эти большие тюки. Она с трудом несла сетку, что поменьше. Остальное тащила я. С нами в лагерь поехала одна из воспитательниц 2-го класса — Анна Дмитриевна (я не помню ее фамилию, кажется, Хрущинская). Это была великанша с крепкими, как у страуса, ногами и с такой же, как у страуса, почти лысой головой, на которой дыбом стояли редкие волосики, выкрашенные в рыжий (даже оранжевый) цвет. На жилистой шее болталось янтарное ожерелье из крупных бус. Редкие зубы были в золотых коронках. Она все время кричала на отстающих ребят, но никому не помогала. Я сильно отстала от остальных ребят и в лагерь пришла последняя. Лагерь размещался в двух школах. Младшие классы располагались на горе, а те, что постарше — под горой. Наташин отряд был на горе. Я понесла один из тюков на гору. Надо было пройти по дороге вдоль берега, миновать крепость, совершенно разрушенную, и деревенский погост с двумя белыми разрушенными церквями, на куполах которых гнездились множество ворон, подняться в гору, и тут стояло здание верхней школы. Я устроила Наташу. Постелила ей постель и сказала, что приду завтра. Уже в сумерках я вернулась в наш лагерь. Все уже устроились, кроме меня. За это мне попало от Анны Дмитриевны. «Ты, — сказала она, — годишься только для сцены (имелось в виду мое пение), а в жизни ты ни на что не годишься». Я очень устала за этот день. Реплика Анны Дмитриевны больно обидела меня. Я тихонько заплакала и принялась стелить свою постель. Наутро мы осмотрелись. Прямо перед нашим корпусом протекал Волхов. С тех пор я очень полюбила эту реку. Река была уже Невы, но все-таки широкая и полноводная, берега тонули в зарослях ольхи и ивы. Кое-где обнажались отмели, покрытые мелким желтоватым песком. На противоположном берегу был лес, на нашем же растянулся поселок Старая Ладога — как мы позже узнали — первая столица Великой Руси, старше Новгорода. Начало русского государства. Нас повели смотреть крепость. Она стояла на холме, но почти утонула в зарослях ольхи и иван-чая. Стены ее были сложены из больших валунов, кое-где они были разрушены вражескими бомбами. Внутри крепости было запустение. Посередине стоял высокий разрушенный Георгиевский собор. Купола были обрушены, большие металлические двери были приоткрыты. Везде: и на полу собора, и снаружи — лежали горы битого кирпича и шту-

катурки. В кучах штукатурки угадывались фрагменты фресок. Везде была крапива и экскременты людей, коров, коз. Место было поругано и никаких высоких чувств не вызывало. Вокруг крепости росли малина и ежевика. Мы, конечно, набросились на ягоды. До крепости ли тут? Я взяла за правило каждый день навещать Наташу. Обычно я оставляла от обеда кусочек хлеба, а потом шла на небольшой стихийно возникший на площади базар. Там я меняла хлеб на огурчик или стакан ягод и с этим приношением отправлялась к Наташе, брала у нее белье, чтобы постирать в Волхове, высушить и принести ей на следующий день.

Однажды я, возвращаясь от Наташи, забрела снова внутрь крепости. Был август — часа четыре дня. Я тихонько вошла в собор. Стояла глубокая тишина. Сквозь разбитые окна собора струились пыльные лучи низко стоящего солнца. На стенах там и тут были видны лики святых. Торжественность этого места захватила меня врасплох. Меня вдруг пронзило чувство одиночества и сиротства, ощущение незащищенности и горя. Я думала о маме, об отце. Я уже давно не видела их. Охваченная тоской, я вдруг стала молиться. Конечно, я не знала ни одной молитвы, но я наивно по-детски просила Господа сохранить нам отца и мать, не оставить нас и послать хоть какую-нибудь весточку от родителей.

Наверное, вы решите, что я все придумала, но когда солнце почти село, я вернулась в наш корпус, поднялась к себе в палату и увидела на своей подушке треугольник папиного письма с фронта. Моей радости не было предела. Папа писал, что мама поправляется, что мы скоро ее увидим, просил получше присматривать за Наташей, слушать старших и вести себя хорошо. Про себя он писал, что здоров, любит нас, целует и думает о нас. Когда я читала письмо, в палату вошла Анна Дмитриевна. Надо просто удивляться ее черствости и какой-то душевной грубости. Она обрушилась на меня с нотацией, сказала, чтобы я не смела уходить с территории лагеря и т. д. и т. п. Я ее почти не слышала. В моей душе был такой праздник, что никто не смел бы мне его испортить.

В конце августа мы вернулись домой. Все было бы ничего, но в лагере мы все обовшивели. За полтора месяца нас ни разу не вымыли в бане. Надо было до школы успеть вывести вшей, приготовить Наташу. Купить ей учебники, портфель, тетрадки, пройти с ней медосмотр. Тут уж мне самой было никак не справиться.

Мы отправились к тете Соне. Она теперь жила дома на Чайковской вместе со своей мамой Пелагеей Ивановной. В четыре руки они нас вымыли, освободили от вшей, постригли покороче. Вместе мы снарядили Наташу как могли, и она пошла в 1-й класс в полном порядке.

В середине сентября на побывку пришел папа, и мы все трое — папа, Наташа и я — отправились к маме. Я несколько раз приходила в справочное больницы, чтобы передать маме лекарства и записочку о том, что мы живы-здоровы, но в самой больнице я не была... Туда не пускали. Эта больница существует и теперь на 5-й линии Васильевского острова. Больница имени Балинского. Нас провели в закрытый вестибюль. Все окна и пролеты лестниц были затянуты металлической сеткой. Все двери наглухо закрыты. Сестра, которая нас впустила, закрыла дверь, а ручку от нее спрята-

ла в карман. Мы сели на скамью, привинченную к полу, и стали ждать. И вот медленно, неуверенно ступая по лестнице, к нам спустилась мама в сопровождении врача. Наташа кинулась к маме громко плача. У меня все разрывалось в душе, но я не позволила себе плакать, боялась расстроить маму. Она была так страшно истощена, ее ручки были, как спичечки, волосы были острижены в скобку и почему-то стали почти черными. До больницы она была русая. На плечах ее был серый байковый халат, обернутый вокруг нее почти вдвое. Мама первым делом ощупала нас, заглянула в Наташины глаза, спросила, видит ли она, затем она ощупала мои ноги и убедилась, что с ними все в порядке. Мы обнимали ее, прижимались к ней, а она никак не могла поверить, что мы живы и здоровы. Оказывается, в ее безумных кошмарах ей мерещилось, что мне оторвало ногу, а Наташа ослепла. Целью нашего посещения было повидаться с ней и убедить ее, что все в порядке.

После этого свидания мама пошла на поправку. В одно из моих посещений она подарила мне крошечный батистовый платочек, вышитый и обвязанный с помощью рыбьей косточки, оставшейся от обеда. Я очень долго хранила этот платочек, но в конце концов он все-таки потерялся.

В конце ноября маму выписали из больницы. Она вернулась такой слабой, измученной и истощенной, что даже смотреть на нее было больно. Почти все по хозяйству делала я. Теперь я понимаю, что делала плохо и неумело, но как могла, изо всех сил.

Мы узнали, что в больнице мама родила сына. Папа назвал его Константином в память своего погибшего брата-близнеца. Мальчик родился слабенький, больной. Его положили в Педиатрический институт, где он умер в муках через 4 месяца. Когда я думаю о нем, то считаю его еще одной жертвой блокады.

Наши войска гнали немцев от Ленинграда все дальше и дальше. Уже освободили Новгород и Псков, а также Карельский перешеек и всю Ленинградскую область, везде были ужасные разрушения. В Новгороде остался всего один неразрушенный дом. Людям негде было жить. Надо было восстанавливать хозяйство области, строить дома и предприятия, производить необходимые для жизни товары. До войны отец работал начальником планово-финансового сектора треста Главснаблес. Теперь перед лесной промышленностью Северо-Запада встала во весь рост задача снабжения лесом строительных организаций, восстанавливающих город и область. Нужны были специалисты по организации работы лесной промышленности. В 1941 г. отец ушел на фронт добровольцем, несмотря на то что у него была бронь. На фронте он был рядовым солдатом-артиллеристом.

Теперь отец был отозван с фронта и вернулся домой в январе 1945 г. (еще до окончания войны). Он очень много работал, вставал ни свет ни заря, топил нашу огромную кафельную печь и уходил на работу. Возвращался поздно, но с ним жизнь наша стала легче. Белье нам стала стирать Катя-дворник, мать пятерых маленьких детей. Муж ее был плотник. Они жили в крошечной комнате (12 кв. м) на Бармалеевой. В комнате были сколочены трехъярусные нары. Эти нары и небольшой стол составляли всю обстановку. Дети у Кати были прелестные. Все белоголовые и голубоглазые, добрые и послушные. Она приводила их к нам, кормила их чем Бог

послал и укладывала спать на нашем диване. Все они помещались поперек дивана и тихо спали, пока мать стирала белье в помещении прачечной.

Но вскоре эта помощь прекратилась. Катя ждала появления на свет следующего, шестого ребенка. Не знаю, откуда папа привел новую прачку — Марию. Тогда никто ничего не говорил и не объяснял. Сейчас я понимаю, что она была освобождена из какого-то лагеря (немецкого или нашего, не знаю). Она была чудовищно уродлива. Родители жалели ее, всячески ей сочувствовали. Но я (к стыду своему) не могла на нее смотреть. Голова ее была лысой, нос был сломан. Руки изуродованы артритом, зубов не было. Наверное, ей было лет 45, но мне она казалась очень старой. Двигалась она как-то ненормально. А вообще весь ее вид приводил меня в смятение. Я не могла даже кусок проглотить, если за столом с нами сидела Мария. Однажды, заметив мое отвращение, папа выгнал меня из-за стола и лишил обеда. Потом, когда Мария ушла, он устроил мне нагоняй за мое недостойное, неблагодарное и неблагодарное поведение. Но я до сих пор содрогаюсь, вспоминая ее лицо. Вскоре она исчезла из нашей жизни. Куда, почему — не знаю. Пришла весна. Война шла к концу. Все мечтали о победе, о мире. Все жили в радостном ожидании победы. 3 мая мама пошла в магазин получить сухое молоко по специальным талонам, которые были выданы ей по выходе из больницы.

Но вдруг в нашу квартиру резко позвонили и, когда я открыла дверь, какие-то незнакомые люди внесли в комнату нашу маму. Оказалась, она упала, так как ее парализовало. Я бросилась звонить папе на работу. Он примчался, вызвал маминого лечащего врача — профессора Ходза. Он запретил маму перемещать. Оказалось, у нее получился тромб в сердце. Необходим был покой. Теперь наша жизнь сосредоточилась вокруг мамы. Мы все ухаживали за ней как могли. У нее отнялась левая половина тела. Мы ее умывали, кормили, поили, перестилали постель и очень за нее переживали. К тому же она ждала ребенка.

Наступило 9 Мая 1945. По радио гремели победные марши. Весна заливала солнцем проспекты, все радовались окончанию войны и надеялись на лучшую жизнь. Везде была радость, а в нашей темной комнате, похожей на гробницу, лежала неподвижная мама, и это как-то гасило чувство радостного веселья, которое наполняло нас в школе и во дворе.

Вечером 9 Мая мы пошли с отцом на салют. Мы стояли на ступеньках Биржи. Салют был грандиозным — такого еще не было. Это было замечательно. В репродукторах звучали поздравительные речи, музыка, песни, на улице играли оркестры и отдельные аккордеонисты, люди пели, танцевали, обнимались.

Война кончилась! Слава Богу! Больше не будут стрелять, бомбить. Больше не будут погибать люди. Эту радость нельзя забыть.

Однажды нас всех, учащихся младших классов, повели в Музей обороны Ленинграда,²⁰ созданный в Соляном городке, где позже разместили казармы и какие-то военные организации.

Музей меня потряс. Там были огромные залы, в которых размещались панорамы и диорамы, изображающие бои за Ленинград. Настоящие танки, пушки, пулеметы. Самолеты были мастерски вмонтированы в макеты, изображающие блиндажи, окопы, землянки. Фигуры бойцов были как живые.

Одни строчили из пулеметов, другие бросали гранаты в наползающие на окопы фашистские танки, санинструкторы перевязывали раненых. Другие залы были посвящены непосредственно Ленинграду, изображали блокаду, жителей, везущих умерших на саночках, очереди за хлебом, разбор развалин после бомбежки, переполненные госпитали, стационары для дистрофиков, эвакуацию через Ладожское озеро, Дорогу Жизни, то есть все, что было можно назвать двумя словами «оборона Ленинграда». Но в 1946 г. партийная комиссия из Москвы приказала уничтожить этот музей. Все ленинградцы восприняли это как величайшую несправедливость.

1945 год — год торжества, надежды и веры в завтрашний день.

А в нашей семье в ноябре появился мой младший брат Георгий. Мы его очень ждали. Он был для нас символом того, что мама выздоравливает, что жизнь продолжается, обнадеживающим началом новой мирной жизни.

Лето 2002 г.

Биографическая справка:

Березовская Светлана Михайловна (31.01.1933, Ленинград) — художник-дизайнер. Родилась в семье экономиста Березовского Михаила Емельяновича (1910, Винница — 1988, Ленинград) и машинистки Прасковьи Константиновны, урожд. Юцевич (1907, Каменец-Подольский — 1982, Ленинград). С 1932 г. семья жила в Ленинграде, с 1936 по осень 1942 г. — в коммунальной квартире в доме 2 по Тучковой набережной, принадлежащем Академии наук, первые два этажа которого занимал Пушкинский Дом. Осенью 1942 г. семья переехала на Петроградскую сторону, на Плуталову улицу, ближе к работе матери. Светлана Михайловна и ее младшая сестра Наталия Михайловна (28.01.1937, в замуж. Сидорюк) детьми пережили блокаду Ленинграда, пошли в школу в осажденном городе, встретили прорыв и снятие блокады, а затем и День Победы. В ноябре 1945 г. родился их младший брат Георгий Михайлович.

В 1950 г. после окончания 8-го класса Светлана Березовская поступила в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище. Курс последних двух классов школы можно было проходить непосредственно в училище, таким образом обучение длилось 8 лет. Сначала Светлана Михайловна была принята на факультет живописи, но вскоре перешла на факультет художественной обработки металла. По окончании вуза работала в конструкторском бюро, проектировала станки, машины, полуавтоматы и автоматические линии.

Следующим местом работы был Павильон лучших образцов товаров народного потребления, где Светлана Михайловна заведовала отделом художественного стекла, фарфора, а также беловых товаров и обоев.

Весной 1964 г. она перешла работать на Ленинградскую ювелирную фабрику в качестве художника, проектирующего ювелирные изделия. В 1968 г. вступила в члены Союза художников. В том же году она становится главным художником ювелирной фабрики.

В 1969 г. ювелирная фабрика сливается с еще двумя ювелирными предприятиями, и Светлана Михайловна становится главным художником Ленинградского объединения «Русские самоцветы». В этой должности она

проработала до 1998 г. — до момента, когда «Русские самоцветы» были приватизированы и распроданы по частям. Эта участь постигла наиболее привлекательные с точки зрения реализации предприятия страны.

За время работы Светлана Михайловна сформировала большой коллектив художников, многих из них обучила, организовала работу отдела главного художника по формированию ассортимента самого крупного в Европе ювелирного предприятия. Изделия «Русских самоцветов» стали известны во всем мире. Их покупали не только в Советском Союзе, но и за границей, где они пользовались заслуженным признанием, о чем свидетельствуют зарубежные каталоги, рекламные проспекты и журналы.

На «Русских самоцветах» начал издаваться иллюстрированный журнал «Русский ювелир». С. М. Березовская опубликовала в нем несколько программных статей. Этот журнал существует до сих пор.

Деятельность С. М. Березовской очень разнообразна и многогранна.

В 1981 г. Светлана Михайловна была награждена орденом «Дружбы народов». Она лауреат многих конкурсов и выставок. При ее деятельном участии сформировался так называемый «петербургский стиль» ювелирных изделий.

Светлана Михайловна не ограничилась проектированием только ювелирных изделий. Она сделала несколько скульптурных работ, занималась совместно с другими художниками оформлением интерьеров атомных ледоколов «Арктика» и «Сибирь», промышленной графикой, дизайном и пр. Круг ее знаний и интересов широк.

В 1990 г. ее имя вошло во всемирный словарь искусств, издаваемый в Лейпциге.

Теперь Светлана Михайловна на пенсии. Она иногда пишет статьи для современных изданий.

Наталья Михайловна Березовская стала журналистом, работала редактором радиовещания в объединении им. Коминтерна, сотрудничала с радиокомитетом Ленинградского радио, лауреат премии «Золотое перо».

Георгий Михайлович Березовский — художник по свету. До последнего времени работал в Театре оперы и балета при Петербургской консерватории.

Три небольших фрагмента из воспоминаний под названием «Путешествие во времени» были опубликованы без комментариев в изд.: Ничто не забыто. 320 страниц о 900 днях блокады Ленинграда 1941—1945. СПб., 2005. Детгиз — Лицей, С. 221—222; 260—261; 282—283.

¹ *Переулком И. П. Павлова* — речь идет о Тифлисской улице, получившей свое название в 1887 г. Переулком И. П. Павлова ее старая часть, выходящая к Малой Неве, могла называться в обиходе с 1925 г., когда в угловом здании (современный адрес: Набережная Макарова, 6) разместился Физиологический институт РАН СССР.

² *Вавилов Николай Иванович* (1887—1943) — выдающийся генетик, растениевод, географ, общественный деятель. Академик АН СССР (1929), член и почетный член многих зарубежных академий, первый президент (1929—1935) ВАСХНИЛ. В 1940 г. был репрессирован, умер в Саратовской тюрьме.

³ *Радищев Лев* — возможно, имеется в виду Лев Алексеевич Радищев (1870—1945) — писатель, художник. Писал преимущественно для детей. Автор книги «Морское дыхание» (СПб., 1912). Жил в Ленинграде, во время блокады был эвакуирован в г. Хвалынский Саратовской области.

⁴ *Бэннинг (Беннинг, Бенинг) Арвид Либориевич* (1890—1943) — гидробиолог. Научную деятельность начал в Саратове. В 1920-е гг. основал первый гидробиологический журнал, в 1930-е работал в Государственном Гидрологическом институте. Ленинградский адрес: ул. Чайковского, д. 40, кв. 27. Был репрессирован, сослан в Среднюю Азию, где и скончался. См. о нем: *Ушаков П. В.* Из воспоминаний о прошлом // Труды ЗИН РАН. Т. 292. Отечественные зоологи. СПб., 2002. С. 109.

⁵ ...стихи *Джамбула «Ленинградцы — гордость моя»* — имеется в виду широкоизвестное стихотворение казахского народного поэта-акына Джамбула Джабасва (1846—1945) «Ленинградцы, дети мои!» (1941) в переводе М. Тарловского. Было опубликовано в газ. «Ленинградская правда» от 6 сент. 1941 г.

⁶ ...булочная *есть и теперь напротив Малой Морской* — имеется в виду булочная-кондитерская, расположенная на Невском проспекте, д. 6.

⁷ *Школа располагалась в здании университета* — восточное крыло филологического факультета (Университетская наб., д. 11) принадлежало средней мужской школе № 21 до и после Великой Отечественной войны. Именно там были возобновлены занятия с детьми в описываемое С. М. Березовской время. В 1946 г. школа переселась на 5-ю линию Васильевского острова в д. 16, где располагается и ныне. Об этом см.: *Ендольцев Ю. А.* «Дворец Петра II» (Университетская набережная, 11). События и люди. Изд. 2-е. СПб., 2002. С. 44.

⁸ *Во время этого обстрела тяжелый фугас попал в крейсер «Киров»* — описываемый воздушный налет пришелся на 4 апреля 1942 г., когда бомба упала на крейсер «Киров» — флагман эскадры. Она, пробив верхнюю палубу и наружный борт у ватерлинии, разорвалась в воде под льдом. Крейсер остался боеспособным. Каждодневные интенсивные налеты на военные корабли, сопровождаемые артобстрелами, ставившие своей целью уничтожение Балтийского флота, продолжались весь апрель, пока на Неве не вскрылся лед. Подробнее об этом см.: *Лантеев Ю. А.* О некоторых вопросах участия флота в обороне Ленинграда (1941—1942 гг.) // Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественной войне 1941—1945. Статьи и очерки. М.: Наука, 1981. С. 46—48.

⁹ ...по *Кировскому мимо ДК Промкооперации* — Дом культуры промкооперации, в 1960 г. переименован в Дворец культуры им. Ленсовета, располагается на Каменноостровском проспекте (с 1918 по 15 дек. 1934 г. — проспект Красных Зорь, затем по 4 окт. 1991 г. — Кировский проспект) в д. 42. Здание, памятник архитектуры конструктивизма, имеет большой театральный зал. Строительство этого Дома культуры в 1930—1938 гг. стало заметным событием в жизни города.

¹⁰ ...завод *«Радист»* — завод, специализировавшийся на изготовлении радиоаппаратуры. Располагался на Чкаловском проспекте в д. 50, в здании бывшей церкви Во имя св. Алексия, человека Божия (построена в 1906—1911 гг., архитектор Г. Д. Грим). В 1935 г. церковь была перестроена в производственное помещение по проекту архитектора Д. Г. Фомичева.

¹¹ *Фабрика Урицкого* — первое табачно-папиросно-сигаретное производство в России (товарищество «Лаферм»), основанное в сер. XIX в. В 1920-х гг. фабрика получила имя М. С. Урицкого, располагалась на Среднем пр. Васильевского острова в д. 36/40. Она работала и во время блокады — выпускала табачную смесь с использованием заменителей и табачной пыли. В качестве добавок брали осенние листья клена, которые собирали и работницы фабрики на аллее Большого проспекта. С 1992 г. это российско-американское предприятие «Р. Дж. Р. — Петро», перебазирувавшееся на Петергофское шоссе, д. 71.

¹² ...на *Дерябкин рынок*... — существовавший с начала XX в., тогда частный, рынок купца Дерябкина. Располагался на Малом проспекте Петроградской стороны. В годы войны, как и все рынки Ленинграда, никем не организуемый — «толкучий». Позднее получил имя «Приморский» и под ним функционировал до 1960-х гг.

¹³ *Инбер Вера Михайловна* (1890—1972) — поэт, прозаик, журналист. Во время Великой Отечественной войны находилась в осажденном Ленинграде. Выступала в газ. «Ленинградская правда», по радио, на митингах, на заводах, в школах, в воинских частях, на линии фронта, на кораблях. Во многих стихах Инбер запечатлен облик фронтового города: «Трамвай идет на фронт», «Заботливая женская рука», «На врага», поэма «Пулковский меридиан» (1943) и др.

¹⁴ *Петрова Мария Григорьевна* (1906—1992) — актриса, народная артистка РСФСР (1978), в годы войны была политруком Дома радио, бойцом местной противовоздушной обороны (МПВО) Ленинградского радиокомитета, членом фронтовой бригады, участвовала в оборонных работах, разбирала завалы разрушенных домов, спасала раненых. С 1942 г. участ-

вовала в спектаклях вновь созданного Городского драматического театра, известного как блок-кадный. Голос Петровой хорошо знали жители в блокаду и после войны. Она проработала на радио 56 лет (см.: www.rusmuseum.ru).

¹⁵ *Преображенская Софья Петровна* (1904—1966) — певичка, народная артистка СССР (1955). Во время блокады Ленинграда вела большую шефскую работу в частях Красной Армии и флота и для населения города.

¹⁶ *Флак Ефим Борисович* (1909—1982) — певец, бас, заслуженный артист РСФСР (1960), солист Ленинградской филармонии, преподаватель Ленинградской консерватории, режиссер-педагог Ленконцерта. Первый исполнитель многих песен В. П. Соловьева-Седого, М. И. Блантера, Б. А. Мокроусова, Т. Н. Хренникова и др. В 1943—1950 гг. работал на Ленинградском радио.

¹⁷ *Теперь школа носит имя академика Лихачева* — переименование средней школы № 47 произошло в мае 2000 г. по распоряжению губернатора Санкт-Петербурга В. А. Яковлева. Инициатива принадлежала школе и Петербургской межведомственной комиссии по переименованиям. В этой школе Д. С. Лихачев учился с 1919 по 1923 г., заканчивал четыре старших класса. Тогда школа имела № 10 и носила имя Л. Д. Лентовской, с 1922 г. — единая Трудовая школа № 190. В этой же школе учился и младший брат Д. С. Лихачева — Юрий.

¹⁸ ... *в психиатрическую больницу на Васильевский остров* — имеется в виду психиатрическая больница им. Балинского, расположенная на 5-й линии Васильевского острова, д. 58/60.

¹⁹ ... *в больницу Филатова* — детская больница, располагалась на Вологодской улице, д. 18. С 1975 г. Вологодская улица вошла в застройку Пражской улицы.

²⁰ ... *Музей обороны Ленинграда* — был образован как выставка в начале 1942 г. Музей в Соляном городке открылся 27 января 1946 г. во 2-ю годовщину снятия блокады. В январе 1946—мае 1949 г. его залы посетило свыше 1,1 млн. человек. В августе 1949 г. в связи с «Ленинградским делом» музей был закрыт для посетителей, его руководители подверглись необоснованным репрессиям. В 1952 г. музей был ликвидирован, восстановленный и ныне действующий открылся 8 сентября 1989 г.